E64
92
АВТОГРАФ

~~165 9/94~~

Глубокоуважаемому Алексѣю Александровичу Шахматову от автора.

Въ пользу «Общества вспомоществованія бывшимъ воспитанницамъ Маріинскаго Института»

E64/92

ОНѢГИНЪ, ТАТЬЯНА и ЛЕНСКІЙ

(КЪ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРІИ ПУШКИНСКИХЪ «ТИПОВЪ»).

„... Смѣло предлагаемъ произведеніе, гдѣ найдутъ подъ легкимъ покрываломъ сатирической веселости наблюденія вѣрныя и безпристрастныя".

(*Изъ предисловія Пушкина къ 1-му изданію „Евгенія Онѣгина"*).

В. В. Сиповскій.

Оттискъ изъ журнала «Русская Старина».

Цѣна **40** к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія Товарищества „Общественная Польза", Большая Подъяческая, 39.
1899.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 29 мая 1899 г.

ГОСУД. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 32507 1992 г.

Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій.

(Къ литературной исторіи пушкинскихъ „типовъ“).

Литературнымъ «типомъ» называется воплощеніе такого художественнаго образа, который создался въ творческомъ воображеніи писателя изъ соединенія однородныхъ чертъ, собранныхъ послѣ наблюденія цѣлаго ряда дѣйствительныхъ людей, близкихъ по духу одинъ къ другому. Такимъ образомъ, созданіе художественнаго литературнаго типа начинается работою аналитической, выражающейся въ томъ, что писатель хаотическую массу явленій, несущихся мимо него, дѣлитъ на разнородныя явленія по различію какихъ-нибудь основныхъ чертъ; затѣмъ начинается работа синтетическая: писатель собираетъ однородныя явленія въ группы и изъ массы образовъ, въ общемъ сходныхъ, создаетъ одинъ, объединяющій всѣ [1]). Совершенно аналогичнымъ путемъ получается въ фотографіи «коллективный типъ»: снимокъ за снимкомъ ложится на одинъ и тотъ же негативъ,—и, въ концѣ-концовъ, получается образъ, правда, неясно очерченный, но типичный, характерный... Конечно, какъ художникъ-живописецъ не помѣститъ такого «коллективнаго образа» на своей картинѣ,—такъ и художникъ-писатель не удовольствуется имъ: для обоихъ нужна жизнь, нужна краска, а не схема [2]),—вотъ, почему, чтобы

[1]) Разумѣется, оба эти процесса—1) никогда не совершаются съ безусловной механическою правильностью: въ зависимости отъ индивидуальности писателя и отъ различныхъ посторонніхъ условій возможны различныя небольшія отклоненія,—и 2) чаще всего вся эта черновая работа художника производится имъ безсознательно.

[2]) Впрочемъ, въ псевдоклассической литературѣ XVII–XVIII вв. такія „типы-схемы“ были въ большомъ ходу: всѣ добродѣтельные герои, злодѣи, любовники etc.—все это—отвлеченные образы, вѣрные съ психологической точки зрѣнія, но неудовлетворяющіе читателя XIX столѣтія, избалованнаго литературнымъ реализмомъ.

*

оживить этотъ «коллективный» типъ, какъ живописцу, такъ и художнику-писателю нуженъ подходящій «натурщикъ». Иногда такого натурщика писатель-художникъ находитъ среди дѣйствительныхъ людей, своихъ современниковъ (напримѣръ, Тургеневъ — для Базарова; несомнѣнно, Гоголь—для героевъ «Мертвыхъ Душъ»); иногда художественному воплощенію абстрактнаго типа поможетъ типичный герой литературнаго произведенія (такими образцами въ европейской литературѣ были, напримѣръ, Чайльдъ-Гарольдъ, Донъ-Жуанъ и др.),—или, наконецъ, писатель въ самомъ себѣ находитъ «натурщика», годнаго для своихъ цѣлей (такимъ «натурщикомъ» былъ для Вертера самъ Гёте; Лермонтовъ—для Печорина) [1]).

Мелкіе писатели почти всегда довольствуются однимъ «натурщикомъ», — но зато дѣятельность ихъ часто и сравниваютъ съ работою фотографа: до художественнаго «творчества» они возвышаются рѣдко, и герои ихъ не «типы», а скорѣе, болѣе или менѣе, удачные портреты...

Обращаясь послѣ этого небольшого вступленія къ героямъ Пушкина—Татьянѣ, Онѣгину и Ленскому, мы постараемся прослѣдить процессъ творческой работы нашего великаго поэта надъ воплощеніемъ этихъ «типовъ». Такимъ образомъ, задачи, которыя предстоятъ нашему разрѣшенію, слѣдующія:

1) Доказать, что эти герои — «типы», т. е., что они отвѣчаютъ не единичнымъ фактамъ русской жизни, а цѣлому ряду явленій одного порядка [2]).

2) Доказать, что «коллективный типъ», соотвѣтствующій каждому изъ этихъ героевъ, нашелъ у Пушкина воплощеніе при помощи тѣхъ «натурщиковъ», о которыхъ мы говорили выше.

---

[1]) Работа съ „натурщикомъ“, завершающая аналитическую и синтетическую, необходима только для писателя-художника, изображающаго современную ему жизнь въ ея типичныхъ представителяхъ,—для изображенія же какого-нибудь „историческаго“ лица или типа, воплощающаго какую-нибудь „общечеловѣческую“ или „философскую“ идею, процессъ творчества, конечно, измѣнится кореннымъ образомъ.

[2]) Такъ какъ „типъ“ соотвѣтствуетъ цѣлому ряду личностей одного характера, а массовое появленіе однородныхъ личностей есть уже явленіе общественное, подчиненное историческимъ законамъ, то, разумѣется, исторія такого „типа“ въ литературѣ переживаетъ такую же эволюцію, какъ и соотвѣтствующіе имъ „типы“ въ жизни: сперва и тѣ и другіе намѣчаются слабо, неясно; потомъ, съ теченіемъ времени, они проясняются все отчетливѣе, выдѣляются все рельефнѣе, рѣзче, принимаютъ своеобразное освѣщеніе, соотвѣтствующее интересамъ времени. Рядъ человѣческихъ поколѣній иногда трудится надъ выработкой одного культурнаго типа,—рядъ писателей, одинъ за другимъ, по преемству, работаютъ надъ художественной вырисовкой одного „литературнаго“ типа.

1. Татьяна.

„Ей рано нравились романы;
Они ей замѣняли все!"
(Пушкинъ, Соч. III, гл. 2, стр. XXIX).

Поэтическій образъ героини Пушкина, несомнѣнно, расцвѣлъ на русской почвѣ; онъ—блестящее, «типическое» завершеніе цѣлаго ряда задумчивыхъ женскихъ образовъ, мелькающихъ въ русской жизни въ теченіе цѣлаго полувѣка. Типъ такой дѣвушки-мечтательницы, живущей въ мірѣ идеальныхъ грезъ, далекихъ отъ будничной жизни, сталъ складываться у насъ съ тѣхъ поръ, какъ въ особый почетъ вошли у насъ «романы»...

Этотъ литературный жанръ съ середины XVIII вѣка былъ любимымъ чтеніемъ нашего общества; можно безъ преувеличенія сказать, что нѣсколько поколѣній воспитало свои чувства и мысли, главнымъ образомъ, на романахъ. Чуть не каждое десятилѣтіе приносило новыя произведенія этого вида, съ содержаніемъ, все болѣе усложняющимся: за многотомнымъ романомъ «приключеній», гдѣ страдаютъ и торжествуютъ добродѣтельные герои и героини, гонимыя злымъ рокомъ,—идутъ романы «психологическіе», интересъ которыхъ отъ фабулы переносится на душу героя, а герои и героини уже начинаютъ пріобрѣтать плоть и кровь. За этими произведеніями, въ которыхъ однако реальность иногда совсѣмъ затемнялась дидактизмомъ, на сцену появляется сентиментальная повѣсть, произведеніе, проникнутое живымъ чувствомъ, сердечнымъ идеализмомъ и проповѣдью гуманности; наконецъ, увлекаютъ русскаго читателя произведенія «идейныя», въ родѣ «Вертера», «Коринны» и «Дельфины»... Такимъ образомъ, рядомъ съ поколѣніями читателей проходятъ передъ нашими глазами поколѣнія романическихъ героевъ: за призрачными, безплотными Селимами, Мирамондами идутъ Ловласы, Грандисоны, Эарсты, за ними—уже рѣзче очерченные Вертеры, Рэнэ и другіе подобные герои, которые переходятъ за рубежъ XVIII вѣка и теряются въ толпѣ правдивыхъ, живыхъ образовъ новѣйшей реалистической литературы... Совершенно то же происходитъ и съ героинями романовъ: за Даирой и Дамасиной, идетъ уже довольно вѣрно обрисованная Кларисса, Памела, Лиза; за ними еще рельефнѣе выдвигается какая-нибудь Дельфина, Коринна, носительницы уже общественныхъ идей...

Вся эта живая струя романической литературы, мѣняющая свой характеръ съ каждымъ новымъ десятилѣтіемъ, обращается, подъ конецъ, въ потокъ, который неудержимо стремится въ русскую жизнь и захватываетъ ее въ своемъ стремленіи. Немудрено, что герои этой литературы были хорошо знакомы всей читающей публикѣ, были общими любимцами и учителями. Оттого тогдашніе присяжные чтецы романовъ

жили въ какомъ-то своеобразномъ мірѣ: вездѣ мерещились имъ «интересные» герои, одаренные особенно высокими качествами души, далекіе отъ жизни, окруженные какимъ-то ореоломъ. Обыкновенный «гвардіи сержантъ» казался романически-настроенной дѣвицѣ «Грандисономъ», а нашъ общій знакомецъ П. И. Чичиковъ, неосторожно заѣхавшій къ Коробочкѣ, представился губернскимъ дамамъ, не болѣе не менѣе, какъ «Ринальдо-Ринальдини»...

Немудрено, что всѣ эти романическіе герои не только увлекали, но и учили русскаго читателя жизни; еще самъ Пушкинъ признался, что—

„Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь или Шатобріанъ:
Мы жизнь спѣшимъ узнать заранѣ,—
И узнаемъ ее въ романѣ...

Оттого-то героями романовъ русскіе модники наряжались не только въ маскарадахъ, но и въ самой жизни нерѣдко щеголяли въ «гарольдовыхъ плащахъ».

Справедливость нашихъ словъ доказать нетрудно: записки и мемуары XVIII—XIX вѣка помогутъ намъ въ этомъ отношеніи. Не только женщины, но и мужчины зачитывались романами до самозабвенія, жили ими, говорили и чувствовали то, что въ нихъ вычитывали [1]). Изъ массы свидѣтельствъ, подтверждающихъ наши слова, остановимся пока на тѣхъ женскихъ образахъ, которые связаны духовнымъ родствомъ съ Пушкинской Татьяной...

Вотъ, передъ нами, напримѣръ, мать Карамзина, молодая женщина, которая, оказывается, до того привязана къ романамъ, что «не выпускаетъ ихъ изъ рукъ» [2]); изъ романовъ у нея составляется даже цѣлая библіотека [3]): «Даира, восточная повѣсть», «Селимъ и Дамасина», «Мирамондъ», «Исторія лорда N.»,—вотъ тѣ произведенія, которыя увлекали молодую женщину [4]) въ чудесный міръ сказочныхъ добродѣтель-

[1]) См. подробнѣе объ этомъ въ нашей работѣ: „Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника“, стр. 7—10. О значеніи романа въ исторіи развитія русскаго общества; см. еще у Ключевскаго: „Воспоминанія о Новиковѣ“, „Р. М.“, 1895, № 1, 40—1; Бѣлозерской: „Вліяніе переводнаго романа и зап. цивилизаціи на русское общество XVIII вѣка“, „Р. Стар.“ 1895, № 1; ея же: „В. Н. Нарѣжный“; Щепкиной: „Популярная литература въ серединѣ XVIII в., „Журн. мин. нар. просв.“, 1886, CCXLIV. Насколько хорошо были знакомы русской публикѣ временъ Пушкина романы, видно, хотя-бы, изъ того, что Пушкинъ часто пользуется именами популярныхъ героевъ этой литературы для характеристики дѣйствующихъ лицъ въ своихъ произведеніяхъ. Напр., словами: „Фобласа давній ученикъ“—онъ рисовалъ образъ, для всѣхъ своихъ современниковъ понятный; указаніемъ на то, что Татьяна вообразила себя „Клариссой, Юліей, Дельфиной“—тоже было сказано очень многое для людей 20-хъ годовъ. Имена этихъ „героевъ“ и „героинь“ часто употребляются у него просто въ видѣ именъ нарицательныхъ. [2]) Карамзинъ, Соч., III, 254. [3]) Ibid, 253. [4]) Ibid, 255.

ныхъ героевъ. Своею будничною жизнью она не удовлетворена,—немудрено, что, какъ Татьяна, она томится, «не нуждается въ обществѣ» [1]) и цѣлые дни просиживаетъ «въ глубокой задумчивости» [2]), выработавъ въ себѣ «удивительную склонность къ меланхоліи» [3]).

Кромѣ этого яркаго образа, мелькаетъ много другихъ, менѣе ясныхъ, въ родѣ, напримѣръ, сестры Второва, дѣвушки, принадлежащей къ этому же новому типу русскихъ женщинъ, увлекавшихся литературой, главнымъ образомъ, конечно, романами [4]).

Вотъ, мать С. Аксакова, большая охотница до книгъ и стиховъ, литературно хорошо образованная и вліяющая въ этомъ отношеніи на окружающихъ [5]); вотъ, напримѣръ, Е. А. Протасова, игравшая, какъ извѣстно, большую роль въ жизни Жуковскаго: у нея, оказывается, «въ Сибири было одно чтеніе: «La Nouvelle Héloise», которую она знала почти наизусть, и кромѣ того, сентиментальная книга о воспитаніи: «Adèle et Théodore» [6]).

Родная сестра Пушкина также была любительницей подобнаго чтенія.

«Любезная сестра!—обращается къ ней еще въ 1814 году нашъ поэтъ:

„Чѣмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаетъ?
Жанлисъ ли предъ тобой?“ [7]).

Остановимъ еще наше вниманіе на дочери Карамзина, Пушкину хорошо знакомой: она—очень хорошій образчикъ русской любительницы романовъ,—это мы видимъ изъ записокъ Смирновой, гдѣ разсказанъ, между прочимъ, слѣдующій эпизодъ: въ обществѣ однажды шла рѣчь о какомъ-то житейскомъ случаѣ—«Sophie, проводящая жизнь въ поглощеніи англійскихъ романовъ, сказала: «это совсѣмъ то же положеніе, когда Артуръ пришелъ къ Мэри». Мы удивленно раскрыли глаза, а Полетика спросилъ ее: «какой Артуръ, какая Мэри?»... Лерма расхохотался: «ахъ, да это романъ въ 15-ти частяхъ, m-lle Sophie увлекается имъ въ настоящее время. Онъ длиннѣе и болѣе раздирателенъ, чѣмъ Клариса Гарловъ». Sophie такъ живетъ въ своихъ англійскихъ романахъ, что беретъ даже изъ нихъ всевозможныя прозвища своимъ знакомымъ» [8]).

Въ результатѣ, отъ подобнаго отношенія къ книгѣ въ русской жизни создавались такія личности, которыя жили по рецептамъ, извлеченнымъ

---

[1]) Ibid, 242. [2]) Ibid. [3]) Ibid. [4]) „Русскій Вѣстникъ“, 1875, № 4, 503. [5]) С. Аксаковъ, Соч., I, 218, 267 и др. [6]) Зейдлицъ, „В. А. Жуковскій“, 13. [7]) Пушкинъ, Соч., I, 6; еще о ней см. Павлищева: „Воспомин. о Пушкинѣ“, 18. Любопытны ея стихи (Ibid, 28—9). [8]) Записки Смирновой, II, 34—5; еще: I, 30, 130 и др.

изъ прочтенныхъ романовъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ.—Въ запискахъ Вигеля мы встрѣчаемъ нѣсколько такихъ образовъ. Дѣвица Ступишина, напримѣръ, совсѣмъ годится въ героини любого изъ модныхъ тогда романовъ: она «отличалась скромностью, любезностью, знала иностранные языки», по-французски объяснялась прекрасно, много читала романовъ и чуждалась общества подругъ (ср. Татьяну); отличалась «чувствительностью, нѣжностью». Но пусть самъ Вигель разскажетъ намъ дальше о ней... «Дѣвочкѣ, восторженной отъ чтенія романовъ, довольно пріятно, въ тиши уединенія, на яву длить собственный романъ»,—началась переписка на французскомъ языкѣ. «Когда случилось мнѣ послѣ читать эти посланія молодой Ступишиной, то мнѣ казалось, что страсть и искусство выражать ее далѣе идти не могутъ; но еще позднѣе, когда я болѣе начитался романовъ, нашелъ въ нихъ цѣлыя страницы, уже мною читанныя» [1]). Вотъ еще дѣвица Копіева, созданіе не отъ міра сего, мечтательница, которой пришлось выстрадать несчастную любовь. «Она была тиха, скромна. Чтеніе французскихъ романовъ пуще воспламенило ея воображеніе...» Любовной страсти она «вся предалась»,—но не суждено было ей узнать радостей любви; она «прилѣпилась къ призраку», «...тѣшилась въ мечтахъ» [2]). Особенно поучительны въ этомъ отношеніи записки Второва: самъ авторъ и женщины, его любившія, очень удачно и, повидимому, вполнѣ чистосердечно разыгрывали сцены изъ романовъ: тутъ и вѣчныя клятвы, [3]) и питье крови другъ у друга [4]), и страстныя посланія, написанныя въ духѣ писемъ S.-Preux и Julie [5]), и слезами размытыя строки [6]), и, въ концѣ концовъ, монастырь, могила несчастной любви... [7]). Пошлыя, на нашъ взглядъ, фразы, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей: «смертоносная пуля скоро просверлитъ голову несчастнаго вашего сына»,—фраза, которою отецъ С. Аксакова запугалъ родителей, взята изъ романа [8]), но была въ свое время вполнѣ искрення и передавала тѣ своеобразныя, приподнятыя романами чувства, которыя жили въ груди читателей того времени. И самоубійства отъ любви, и монастыри, и страстныя переписки были тогда въ ходу и погубили, вѣроятно, не мало молодыхъ жизней,—не даромъ «романы» даже попадаютъ въ завѣщанія: умирающая мать проситъ свою дочь не читать безъ разбору романовъ [9])!..

---

[1]) Вигель, „Воспоминанія“, II, 80. (Изд. Бартенева). [2]) Ibid, IV, 13. [3]) „Русск. Вѣстн.“, 1875, № 6., 470 [4]) Ibid. [5]) Ibid, 471—2, 473—4, 476 и др. [6]) Второвъ, „сжегъ всѣ письма К., вырѣзалъ только тѣ мѣста, которыя были залиты слезами“... (Ibid, 471). [7]) „Изъ этихъ вырѣзанныхъ лоскутковъ, омоченныхъ слезами бѣдной женщины, теперь ничего нельзя понять; только изъ одной сохранившейся приписки къ какимъ-то стихамъ на разлуку видно желаніе ея идти въ монастырь“ (Ibid, 471). [8]) С. Аксаковъ, Соч., I, 86. [9]) „Русск. Вѣстн.“, 1875, № 8, 590.

Вѣроятно, это чтеніе было страшной культурной силой, если несчастная женщина такъ боялась его...

Вотъ почему, почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ которыхъ Пушкинъ брался за изображеніе современной ему жизни, онъ вѣчно сталкивался съ героями и героинями, воспитанными на романахъ... Такъ, напримѣръ, Сильвіо («Выстрѣлъ»), зачитывается романами [1]). Марья Гавриловна («Мятель»), «была воспитана на французскихъ романахъ и, слѣдственно, влюблена» [2]). Лиза («Отрывокъ изъ романа въ письмахъ»), читаетъ романы и воображаетъ себя Клариссой Гарловъ [3]). Маша Троекурова («Дубровскій»), «перерывъ сочиненія всякаго рода въ отцовской библіотекѣ, остановилась на романахъ» [4]); она «напитана таинственными ужасами Радклифа» [5]). Лиза («Пиковая дама»), увлекается Германомъ послѣ разговора съ Томскимъ, который Германа представилъ ей романическимъ героемъ[6]); Владиміръ («Отрывокъ изъ романа въ письмахъ») зачитывается романами[7]), то же и Алексѣй [8]) («Барышня-Крестьянка»); Полина («Рославлевъ») перечла всѣ романы: Руссо знала наизусть [9]): Маша «воспитана на романахъ», которыхъ у нея «цѣлый шкафъ» [10]) («Отрывокъ изъ романа въ письмахъ»); Вольская («Гости съѣзжались на дачу..») четырнадцати лѣтъ «читала романы и писала любовныя записки»[11]); Валерьянъ («На углу маленькой площади...») читаетъ англійскіе романы[12])...

Какъ мы видѣли уже выше, самъ Пушкинъ признался, что романы учили русскаго человѣка «жизни», подсказывали ему и чувства, и поступки,—оказывается, они помогали ему и выяснить состояніе души, и выразить словами чувства. Такъ, Германъ («Пиковая дама»), написалъ Лизѣ письмо, которое было «нѣжно, почтительно и слово въ слово взято изъ нѣмецкаго романа [13]). Такъ, Бурминъ («Мятель») свое признаніе въ любви сочинилъ при помощи Руссо, можетъ быть, самъ того не замѣчая: «Я васъ люблю, — сказалъ Бурминъ,—я васъ люблю страстно. Я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо S.-Preux) [14]).

Изъ всего сказаннаго не трудно сдѣлать два заключенія: 1) что и до Пушкина и особенно при немъ въ русской жизни часто встрѣчались люди, пропитавшіеся романами до такой степени, что ихъ внутренняя жизнь часто была повтореніемъ жизни книжныхъ героевъ, и—2) литературныя попытки Пушкина воспроизвести современныхъ ему людей доказываютъ, что нашъ писатель прекрасно замѣтилъ какое значеніе въ русской жизни имѣли романы.

[1]) Пушкинъ, Соч., IV, 36 (Изд. Лит. Фонда). [2]) Ibid, 47. [3]) Ibid, 350—1 [4]) Ibid, 143. [5]) Ibid, 150. [6]) Ibid, 300. [7]) Ibid, 353. [8]) Ibid, 77. [9]) Ibid, 111. [0]) Ibid, 350. [11]) Ibid, IV, 369. [12]) Ibid, 379. [13]) Ibid, 294. [14]) Ibid, 54.

Обращаясь теперь къ интересующей насъ Татьянѣ, мы встрѣчаемъ въ ней повтореніе всего того, что не разъ попадалось намъ при встрѣчѣ съ аналогичными типами. Какъ большинство любительницъ такого чтенія, которое отвлекаетъ отъ будничной жизни въ волшебный міръ неземныхъ, добродѣтельныхъ героевъ, Татьяна «дика, печальна, молчалива» [1]), чуждается непосредственнаго живого веселья [2]), одиноко мечтаетъ [3]), не спитъ по ночамъ [4])...

„Ей рано нравились романы;
Они ей замѣняли все;
Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона, и Руссо...“ [5]).

Немудрено, что она ждала «героя» очень давно:

„Давно ея воображеніе,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Тѣснило ей младую грудь;
Душа ждала кого-нибудь...“ [6]).

Является Онѣгинъ... Въ однообразной толпѣ дикарей-помѣщиковъ и пошленькихъ армейскихъ офицериковъ онъ слишкомъ оригинальное лицо, чтобы пройти незамѣченнымъ Татьяною,—вотъ почему она сразу и легко побѣждена:

„...открылись очи,
Она сказала: это онъ! [7]).

Что же дѣлаетъ героиня, найдя своего героя?.. Она прежде всего бросается къ своимъ романамъ: она перечитываетъ давно знакомыя произведенія, она опять бесѣдуетъ съ любимыми героями:

„Теперь съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
Пьетъ обольстительный обманъ!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,—
. . . . . .
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились“... [8])

Итакъ, въ немъ Татьяна соединила всѣ черты книжныхъ героевъ: въ немъ полюбила мечтательная дѣвушка идеальный образъ, созданный ею самой.

---

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 273. [2]) Ibid, 274. [3]) Ibid. [4]) Ibid, 275. [5]) Ibid. [6]) Ibid, 283. [7]) Ibid, III, 283. [8]) Ibid, 284.

Мало того, она идеализировала и себя:

„Воображаясь героиней
Своихъ излюбленныхъ творцовъ,
Клариссой, Юліей, Дельфиной“ [1],

— она бродитъ по лѣсу, вооруженная книгою, въ которой

„...ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты“ [2].

Слѣдовательно, и ей, какъ тысячамъ другихъ дѣвушекъ, романъ уясняетъ ея чувства, разжигаетъ ихъ, наконецъ, учитъ найти выраженіе для нихъ:

„...себѣ присвоя
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя [3].

Этими словами самъ Пушкинъ призналъ, что письмо Татьяны заимствовано ею все изъ тѣхъ же романовъ, — пріемъ, какъ мы видѣли выше, часто практиковавшійся въ жизни. Перечитаемъ письмо Татьяны, — и мы безъ труда поймемъ, что «эта нѣжность и словъ любезная небрежность» [4], этотъ «умильный вздоръ, безумный сердца разговоръ и увлекательный и нѣжный» [5],—все это—присвоеніе «чужого восторга», «чужой грусти», что все это взято Татьяною изъ книги, т. е., есть—или простое заимствованіе Пушкинымъ изъ романа, или имитація, болѣе или менѣе, удачная, опять-таки роману.

Гдѣ-же намъ искать образецъ для письма Татьяны?

Пушкинъ выводитъ насъ изъ недоумѣнія указаніемъ, что его героиня воображала себя—«Клариссой, Юліей и Дельфиной»... Будемъ-же искать у этихъ трехъ общеизвѣстныхъ героинь что-нибудь похожее на письмо Татьяны... Нетрудно сразу опредѣлить, что Юлія Руссо больше двухъ другихъ была виновна въ письмѣ героини Пушкина...

Мы это утверждаемъ потому, что романъ Руссо «Новая Элоиза», лучшая часть котораго состоитъ, главнымъ образомъ, изъ любовныхъ писемъ С-Прё и Юліи, былъ такимъ восторженнымъ «гимномъ любви», что вся литературная Европа признала Руссо исключительнымъ «поэтомъ любви»; и онъ оставался таковымъ очень долго, т. к. въ произведеніяхъ его многочисленныхъ учениковъ любовь является подчиненной другимъ идеямъ, отойдя вслѣдствіе этого на второй планъ (Гете — «Вертеръ», Шатобріанъ—«Рэнэ», Сталь—«Дельфина»). Такимъ образомъ, «наукѣ страсти нѣжной» еще въ началѣ XIX столѣтія лучше всего училъ все-таки неувядаемый Руссо [6]. И мы видѣли выше, что этотъ писатель имѣлъ большое значеніе и для Второва, и для Е. А. Протасовой, и для сестры Пуш-

[1]) Пушкинъ, Соч. III, 284. [2]) Ibid, [3]) Ibid, 285. [4]) Ibid, 294. [5]) Ibid. [6]) Ср. напр. Байрона, Соч. I, 244. (Изд. 1874 г.).

кина, и, что особенно важно—для нѣкоторыхъ героевъ Пушкина: оказывается, Полина знаетъ Руссо наизусть [1]); прекрасно знаетъ его и Марья Гавриловна [2]); Бурминъ въ своемъ любовномъ объясненіи говоритъ языкомъ «перваго письма С-Прё [3])... Кромѣ того, сблизили мы Руссо съ Пушкинымъ и потому, что французскій писатель былъ прекрасно знакомъ нашему поэту: въ стихотвореніи «Городокъ» Руссо поставленъ имъ въ ряду любимыхъ писателей [4]); изъ посланія «Къ сестрѣ» видно, что Руссо хорошо былъ знакомъ Пушкину еще въ 1814 году [5]). Насколько хорошо помнилъ нашъ поэтъ письма героевъ «Новой Элоизы», видно изъ вышеприведеннаго факта, какъ даже въ 30-мъ году изобличилъ онъ одного своего героя (Бурмина) въ заимствованіи у Руссо [6])...

Приведемъ нѣсколько сопоставленій изъ письма Татьяны и писемъ Юліи, особенно перваго, въ которомъ та открываетъ С.-Прё долго скрываемую любовь:

„Я вамъ пишу—чего-же болѣ?
Что я могу еще сказать“? [7])—

«Что я могу сказать»?—пишетъ Юлія: «какъ прервать тяжелое молчаніе, да развѣ я уже не сказала вамъ всего (тѣмъ, что написано письмо)? [8])

„Сначала я молчать хотѣла“—[9])

«Сколько разъ клялась я, что эта тайна не выйдетъ изъ моего сердца» [10])

Татьяна обращается съ мольбой къ Онѣгину:

„Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ...“—[11]),

«Я не могу жить безъ васъ... необходимо, чтобы я васъ видѣла»—пишетъ Юлія» [12])

„Зачѣмъ вы посѣтили насъ?
. . . . . .
Я никогда не знала-бъ васъ,
Не знала-бы горькаго мученья“ [13])—

---

[1]) Пушкинъ, Соч. IV, 111. [2]) Ibid, 54. [3]) Ibid. [4]) Ibid, 44. [5]) Ibid, I, 5. [6]) Объ удивительной памяти Пушкина сохранилось нѣсколько свидѣтельствъ его современниковъ: „А. С. П-нъ.. особенно отличался необыкновенной памятью и превосходнымъ знаніемъ французской словесности. Ему стоило прочесть раза два страницу какого-нибудь стихотворенія, и онъ могъ уже повторить оное наизусть безъ всякой ошибки“. (Гротъ, „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи“. Зап. Комовскаго; 250); см. также Анненкова „Матеріалы..“, 44). Что забывалъ П-нъ изъ стихотвореній Жуковскаго, то послѣдній всегда исправлялъ. Такимъ образомъ, лучшіе образы и выраженія Руссо могли на всю жизнь удержаться въ памяти П-на. [7]) Пушкинъ, Соч., III, 294. [8]) J. J. Rousseau. „Julie ou la N. Héloise“ partie I, lettre IV, 35. [9]) Пушкинъ, 294. [10]) J. J. Rousseau, 35. [11]) Пушкинъ, 294. [12]) J. J. Rousseau, 53. [13]) Пушкинъ, 295.

«Не зная тебя, я никогда не знала бы невыносимаго контраста между возвышеннымъ настроеніемъ моей души и ничтожностью моей жизни» [1]..

„Была-бы вѣрная супруга
И добродѣтельная мать“ [2]—

«Жизнь моя протекла-бы спокойно и счастливо» [3].

„Нѣтъ никому на свѣтѣ
Не отдала-бы сердца я“! [4] —

«...наши жизни связаны навсегда, и мы можемъ быть счастливы и несчастны только вмѣстѣ» [5].

„То въ вышнемъ рѣшено совѣтѣ..
То воля неба—я твоя“! [6]—

«...небо глухо къ моимъ мольбамъ: все отдаетъ меня тебѣ»!! [7].. «Вѣчный приговоръ неба предназначилъ насъ одинъ для другого»! [8])

„Я знаю: ты мнѣ посланъ Богомъ;
До гроба ты хранитель мой..“ [9])

«...я тебя хорошо знаю: ты поддержишь меня въ моихъ слабостяхъ, ты будешь моимъ хранителемъ» [10]).

„Ты чуть вошелъ—я вмигъ узнала,
Вся обомлѣла, запылала,
И въ мысляхъ молвила: „вотъ онъ!“ [11])

«Какъ только, къ несчастью, я увидала тебя, я почувствовала ядъ въ моихъ чувствахъ и разсудкѣ... [12]) Чуть я тебя увидала—моя грудь задрожала» [13]).

„Кто ты: мой ангелъ-ли хранитель,
Или коварный искуситель“? [14])

Юлія называетъ С.-Прё—то «коварнымъ человѣкомъ» и «обольстителемъ»,—то «единственнымъ защитникомъ», «великодушнымъ...» [15])

„. . . . . судьбу мою
Отнынѣ я тебѣ вручаю“. [16])

«Мою честь я ввѣряю твоей..» [17]).

«Я вамъ подъ защиту отдаю заботу о нашей судьбѣ» [18]).

„Передъ тобою слезы лью“ [19])—

«Я обливаю слезами письмо..» [20])

„Твоей защиты умоляю“ [21]) —

«Я къ тебѣ приношу свои мольбы, спасти меня отъ гибели; ты долженъ быть моимъ единственнымъ защитникомъ...» [22])

---

[1]) J. J. Rousseau, 93. [2]) Пушкинъ, 295. [3]) J. J. Rousseau, 93. [4]) Пушкинъ, 295 [5]) J. J. Rousseau, 54. [6]) Пушкинъ, 295. [7]) J. J. Rousseau, 36. [8]) Ibid, 96. [9]) Пушкинъ, 295. [10]) J. J. Rousseau, 37. [11]) Пушкинъ, 295. [12]) J. J. Rousseau, 36. [13]) Ibid, 64. [14]) Пушкинъ, 296. [15]) J. J. Rousseau, 36, 37. [16]) Пушкинъ, 296. [17]) J. J. Rousseau, 37. [18]) Ibid, 56. [19]) Пушкинъ, 296. [20]) J. J. Rousseau, 37. [21]) Пушкинъ, 295. [22]) J. J. Rousseau, 37.

„Вообрази: я здѣсь одна“ [1]) —

«Мать моя слаба; я знаю непреклонную суровость отца; подруга моя уѣхала; брата нѣтъ въ живыхъ...» [2])

„Меня никто не понимаетъ“ [3]) —

«...они не могутъ понять, что происходитъ» (въ душѣ Юліи) [4]).

„Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна!“ [5]) —

«...все покидаетъ меня... мои всѣ усилія напрасны... я чувствую, что падаю въ пропасть... [6]).

„Я жду тебя: единымъ взоромъ
Надежды сердца оживи
Иль сонъ тяжелый перерви
Увы, заслуженнымъ укоромъ“! [7]) —

«...не предоставляйте меня только себѣ; рѣшите мою участь, скажите, какъ вы отнесетесь къ этому»? [8]).

Кромѣ этихъ примѣровъ, заставляющихъ насъ указывать на связь романа «Новая Элоиза» съ «Евгеніемъ Онѣгинымъ» [9]), мы можемъ привести еще одно основаніе: нѣкоторыя мѣста изъ письма Татьяны дѣлаются понятными только послѣ сопоставленія ея письма съ письмомъ Юліи... Напримѣръ:

«Зачѣмъ Вы посѣтили насъ?—спрашиваетъ съ отчаяньемъ Татьяна:

„Въ глуши забытаго селенья
Я никогда-бъ не знала Васъ,
Не знала-бъ горькаго мученья“.

О какомъ «мученьи» говоритъ Татьяна? Для насъ это дѣлается яснымъ не сразу: нужно возстановить пропущенную Пушкинымъ мысль,—Руссо облегчаетъ этотъ трудъ: «не зная тебя,—говоритъ героиня его романа—я никогда не знала-бъ невыносимаго контраста между возвышеннымъ настроеніемъ моей души и ничтожностью моей жизни («grandeur au fond de mon âme et de bassesse dans ma fortune»), т. е. глубокая тоска потому мучаетъ Юлію, что она, ощутивъ въ душѣ возвышенную страсть,

---

[1]) Пушкинъ, 296. [2]) J. J. Rousseau, 36. [3])Ibid, 296. [4]) J. J. Rousseau, 36. [5]) Пушкинъ, 296. [6]) J. J. Rousseau, 36—7. [7])Пушкинъ, 296. [8]) J. J. Rousseau, 32. [9])Спѣшимъ оговориться, что современный читатель можетъ усмотрѣть въ этихъ рѣчахъ С.-Прё и Юліи, Онѣгина и Татьяны не мало „общихъ мѣстъ“: иначе говорить любовники и не могли,—вѣдь они говорятъ общепринятымъ языкомъ. Но если мы станемъ на историческую точку зрѣнія, мы признаемъ, что многое, съ нашей точки зрѣнія, „пошлое“, когда-то было „откровеніемъ“. Напр., фраза совершенно банальная, съ современной точки зрѣнія: „я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно“—была въ то время совершенной новостью, рѣзавшей ухо; такою же „новостью“ были многіе образы, обороты рѣчи и мысли, взятыя Пушкинымъ у Руссо для письма Татьяны.

поняла всю пошлость, всю мелочность окружающей ее жизни... Точно такъ же появленіе Онѣгина вноситъ разладъ въ душу Татьяны: она, по ея словамъ, могла бы быть «вѣрною супругою» и «добродѣтельною матерью», если-бы не явился онъ, внесшій въ ея жизнь мучительное сознаніе контраста между пошлостью провинціальной «глуши» и тѣми чувствами, которыя она сознала съ его появленіемъ...

«Твоей защиты умоляю!»—обращается Татьяна довольно неожиданно къ Онѣгину... О какой «защитѣ» идетъ рѣчь, догадаться безъ письма Юліи почти невозможно. Юлія проситъ, чтобы С.-Прё защитилъ ее отъ себя («tu dois être mon unique defenseur contre toi»). Это contre toi, пропущенное Пушкинымъ, сразу уясняетъ смыслъ непонятныхъ словъ: Татьяна, «вообразившая себя Юліей», рѣшила, что защитить ее можетъ только благородство ея героя, за собой-же она не признавала никакихъ силъ для борьбы.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что и мысли, и чувства, вложенныя Татьяной въ свое посланіе, очень близки къ тѣмъ, что волновали душу героини Руссо... Думается намъ, что Пушкинъ хотѣлъ подсказать читателю, что чувства Татьяны преувеличены благодаря ея воспитанію,— вотъ почему онъ счелъ нужнымъ разсказать, какъ сочиняла свое письмо его героиня: оказывается, что она, передъ сочиненіемъ письма къ Онѣгину, вооружается романами и въ нихъ:

„... ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты
... себѣ присвоя
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя“...

И, она шептала это письмо «по-французски», такъ какъ по-русски плохо знала:..

„И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ,
. . . . . .
Донынѣ дамская любовь
Не изъяснялася по-русски“ [1]..

И письмо было написано «по-французски», какъ говоритъ самъ Пушкинъ,—конечно, это еще одно основаніе для признанія, что, главнымъ образомъ, у Руссо заимствовала Татьяна и свой восторгъ, и свою грусть...

Татьяна вообразила себя не только «Юліей», но и «Кларисой», т. е. несчастной героиней извѣстнаго романа Ричардсона: «Кларисса Гарлоу...»

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 292.

Что же сходнаго въ обѣихъ этихъ героиняхъ? Думается намъ, что Татьяна только потому сблизила себя съ героиней Ричардсона, что Онѣгинъ напомнилъ ей Ловласа, удивительнаго побѣдителя женскихъ сердецъ. Припомнимъ, что Татьяна открылась Онѣгину въ любви, еще не зная навѣрно, кто онъ, «коварный-ли обольститель» или «ея ангелъ-хранитель»; допуская первое, она отожествляла его съ Ловласомъ, съ этимъ, дѣйствительно, типичнымъ «обольстителемъ», который даже въ наши дни не утратилъ своей художественной красоты... Если это такъ, то, очевидно, Татьяна могла видѣть въ себѣ будущую жертву намѣреннаго и холоднаго коварства. Внутренняго-же, духовнаго сродства между обѣими героинями не найти...

Зато поразительно близка къ Татьянѣ Дельфина г-жи Сталь—и по характеру, и по судьбѣ... Этотъ образъ положительно необходимъ для критика Пушкинской Татьяны, такъ какъ онъ уяснятъ многія стороны ея души, остающіяся безъ этого сближенія въ тѣни...

Романъ М-me Сталь есть не что иное, какъ картина женской души, картина подробная, мелочная... Приключенія въ этомъ романѣ видной роли не играютъ,—такимъ образомъ, интересъ его не внѣшняго характера, какъ въ романахъ авантюрныхъ, а внутренняго, какъ въ романахъ чисто психологическихъ... Въ этомъ историческое значеніе романовъ: послѣ «Новой Элоизы» Руссо, «Вертера» Гете, Сталь дала произведеніе, въ которомъ выдвинула, однако, уже спеціально свое—«психологію женской души...»

Другая сторона въ этомъ произведеніи, «философская», не менѣе важна для насъ. Романъ посвященъ изображенію борьбы одинокой талантливой личности съ безличной, безформенной, но страшной силой,—«общественнымъ мнѣніемъ», составляющимся изъ разныхъ предразсудковъ, сплетень, мелкихъ интригъ.

Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ романъ Пушкина можетъ быть сопоставленъ съ романомъ Сталь, какъ романъ чисто «психологическій», въ которомъ сквозитъ очень ясная тенденція автора провести ту же идею, что вложена въ романъ г-жи Сталь. Въ лицѣ нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со средой, борьба, уже извѣстная намъ изъ жизни Дельфины.. Жизнь Татьяны въ деревнѣ съ отрочества была нѣмымъ протестомъ противъ будничной, патріархальной жизни сытыхъ русскихъ помѣщиковъ,—Татьяна «дика, печальна, молчалива», она чуждается беззаботнаго веселья сверстницъ, счастливыхъ и довольныхъ своею жизнью, она жалуется, что «ея никто не понимаетъ», что, не видя ни въ комъ поддержки, она «должна молча гибнуть». Жизнь Татьяны въ Москвѣ, а потомъ въ петербургскомъ свѣтѣ, является такимъ же «нѣмымъ» протестомъ противъ среды. Правда, царица баловъ и законодательница залъ, Татьяна не смотритъ уже исподъ-

лобья на общество, которое ее окружаетъ, не забывается съ книгой въ садъ,—она расточаетъ величественныя улыбки,—но въ душѣ она протестуетъ противъ всей этой «ветоши маскарада», «постылой жизни мишуры» [1]),—въ душѣ она—все та же «бѣдная Таня» [2]), съ встревоженнымъ сердцемъ и мечтательной головкой. Припомнимъ, наконецъ, тѣ жалобы на «общественное мнѣніе», которыя слышатся не разъ отъ самого Пушкина—и тогда, когда онъ говоритъ о воспитаніи Онѣгина [3]) и жизни его въ свѣтѣ, и, наконецъ, послѣ разсказа о вызовѣ на дуэль, вызовѣ, который былъ принятъ Онѣгинымъ, только потому, что юный «философъ» боялся «общественнаго мнѣнія» тѣхъ деревенскихъ русачковъ, которыхъ въ душѣ самъ презиралъ—

„... вотъ общественное мнѣнье!
Пружина чести, нашъ кумиръ!
И вотъ, на чемъ вертится міръ!“ [4])—

—вырывается у Пушкина грустное восклицаніе, доказывающее, что и самъ поэтъ признавалъ нелѣпость этой силы, хотя склонялся передъ ея могуществомъ [5])...

Конечно, это протесты все очень слабые, но, несомнѣнно, первые, раздавшіеся въ русской литературѣ; въ европейской же впервые m-me Сталь сумѣла этотъ протестъ художественно воплотить въ лицѣ двухъ героинь своихъ — Коринны и Дельфины. Различіе между Татьяной и героинями Сталь такое же, какъ и между Пушкинымъ и Сталь: первый былъ рабомъ «общественнаго мнѣнія», рабомъ, носившимъ однако свое ярмо съ краскою на лицѣ,—вторая была борцомъ, много страдавшимъ, но непреклоннымъ и неутомимымъ, съ которымъ самъ Наполеонъ долженъ былъ считаться. Та же разница и между героинями: въ сознанье Пушкинской героини уже прокралось недовѣріе къ суду «общественнаго мнѣнія», но въ борьбу съ нимъ она не вступаетъ, какъ это дѣлаетъ Дельфина..

Сдѣлаемъ нѣсколько сопоставленій между обѣими героинями,—и мы поймемъ, почему Татьяна вообразила себя Дельфиной. На себя наша провинціальная дѣвица, несомнѣнно, смотрѣла, какъ на протестъ противъ среды.—Дельфина оказывается несчастной въ высшемъ обществѣ [6]), блескъ и суета свѣтской жизни не можетъ у нея загладить воспомина-

---

[1]) Пушкинъ, Соч., III; 402—3. [2]) Ibid, 401. [3]) Ibid, 236, 252. [4]) Ibid, 345. [5]) Такое же отношеніе, быть можетъ, нѣсколько болѣе энергичное, слышится въ посланіи къ А. П. Керн (1829), въ которомъ поэтъ выступаетъ на защиту любимой женщины. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ Пушкинъ въ открытую борьбу не вступаетъ: онъ „молитъ кумиръ безчувственный“ о пощадѣ и, видя безплодность своей мольбы, старается убѣдить молодую женщину съ презрѣніемъ отнестись къ „общественному мнѣнію“ и уклониться отъ безплодной борьбы съ нимъ..“ (II, 64). [6]) M-me Staël, „Delphine“, 5—6, 9.

ній ранней юности [1]); она одинока [2]); страдаетъ меланхоліей, такъ какъ у нея «чувствительная душа» [3]),—все это, какъ мы видимъ, повторяется буквально у нашей Татьяны. Далѣе: обѣ героини живутъ порывами [4]); exaltation romanesque [5]), sensibilité [6]),—ихъ отличительныя черты. Обѣ довѣрчивы [7]), откровенны; у обѣихъ bon coeur и mauvaise tête [8]), почему онѣ и живутъ иллюзіями [9]), воображеніемъ [10]), не интересуясь будничной жизнью [11]); обѣ добры [12]) и честны [13]); обѣ, наконецъ, «естественны» [14]), т. к. голосъ сердца—для нихъ все: онѣ повинуются только Богу [15]) и сердцу [16]),—потому то безъ труда нарушаютъ «правила приличія» [17]) (письмо Татьяны).

Стремленія ихъ одинаковы: воспитанныя на романахъ [18]), онѣ стремятся къ идеальному счастью, ищутъ для этого идеальнаго героя. Конечно, такимъ долженъ быть какой-нибудь интересный молодой человѣкъ, который годится на роль heros de roman [19]).. Какой же герой поразитъ героиню Сталь?—Несомнѣнно, человѣкъ, выдающійся изъ пошлой среды, «оригинальный»,—и, дѣйствительно, ее увлекаетъ «герой холодный» [20]), повидимому, недоступный страстямъ и интересамъ мелкой пошлой жизни: это—юноша «sauvage, savant et philosophe» (Ср. Онѣгина—«нелюдимъ», «ученъ», «философъ въ восемнадцать лѣтъ»).

Дельфина увлекается Мондовилемъ совершенно такъ же, какъ Татьяна Онѣгинымъ: для первой ея герой дѣлается «судьей» [21]), для второй—«ангеломъ-хранителемъ».. Даже исторія любви складывается у нихъ одинаково: сначала онѣ являются искательницами счастья, потомъ роли мѣняются—любви домогаются ихъ герои. Но судьба немилосердна къ героямъ Сталь, какъ и къ героямъ Пушкина,—и отъ обѣихъ героинь, на прощанье, мы слышимъ сходныя рѣчи, полныя благородной чистоты [22]), проникнутыя яснымъ сознаніемъ чувства долга [23]).

Изъ всѣхъ этихъ сравненій видно, что героиня Пушкина—довольно удачный сколокъ съ героинь своихъ любимыхъ романовъ: она вообразила себя Юліей, Клариссой и Дельфиной [24]) до того удачно, что слі-

[1]) M-me Staël. „Delphine“, 8, 272, 275—6. [2]) Ibid, 17. [3]) Ibid, 7. [4]) Ibid, 10. [5]) Ibid, 208. [6]) Ibid, 211. [7]) Ibid, 12. [8]) Ibid, 12. [9]) Ibid, 200. [10]) Ibid, 20. [11]) Ibid, 99, [12]) 296, 88, 94. [13]) Ibid, 330. [14]) Ibid, 73. [15]) Ibid, 51. [16]) Ibid, 142. [17]) Ibid. [18]) Ibid, 63, 454. [19]) Ibid, 43. [20]) Ibid, 23, 24, 25, [21]) Ibid, 87, 106. [22]) M-me Staël. „Delphine“, 247. [23]) Ibid, 330. [24]) Что касается до героини романа „Коринна“, то въ ней мы найдемъ повтореніе Дельфины, съ прибавленіемъ геніальности артистической натуры. Потому и между Татьяной и Коринной можно найти нѣсколько сближеній. Коринна, напримѣръ, какъ Татьяна, томится деревенской обстановкой, въ которой душно ея оригинальной натурѣ („Corinne“, 305, 306—7, 310). Герой, который попался ей на жизненномъ пути—Освальдъ—тотъ же Мондовиль

вается съ этими литературными образами: она говоритъ языкомъ Юліи, переживаетъ опасенія Клариссы, живетъ мечтами и думами Дельфины..

Что же въ ней русскаго, въ этой «идеальной русской женщинѣ»? Только то, что она была суевѣрна, любила русскія сказки, русскую природу, русскую тройку! Ея «русская душа» оказывается до того слабо связанною съ родною жизнью, что экзотическое вліяніе иностранной романической литературы опредѣляетъ всю ея жизнь. Правда, если бы судьба оставила Татьяну въ «глуши забытаго селенья»—она, вѣроятно, въ концѣ-концовъ обратилась бы въ добродушную, хлѣбосольную, русскую помѣщицу..

Вѣдь такова была судьба ея матери,—прошла пора поэтическихъ грёзъ юности,—и забытъ былъ Грандисонъ, забыты были сердечныя муки—она—

„Рвалась и плакала сначала,
Съ супругомъ чуть не развелась.
Потомъ хозяйствомъ занялась
Привыкла, и довольна стала [1]).

Судьба судила Татьянѣ иное: она попала въ высшій кругъ—въ полурусскую толпу людей, ломающихся, большею частью, копирующихъ все тѣхъ же Ловласовъ, Фобласовъ, Грандисоновъ, съ которыми Татьяна была знакома давно... Немудрено, что ея свѣтская жизнь была для нея продолженіемъ все того же романическаго бреда. Какъ иначе объяснить ея вторичное признаніе въ любви Онѣгину:

„Я васъ люблю... (Къ чему лукавить?)“ [2])

За что́ было любить Онѣгина этой «простой, искренней дѣвушкѣ, съ ея чистой серьезной любовью» (какъ представляютъ нѣкоторые критики Татьяну) послѣ того, какъ ей удалось открыть, что онъ—не что иное какъ—

„... подражанье
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ“. [3])

Очевидно, причину этой неувядаемой «любви» надо искать въ какомъ-нибудь постороннемъ вліяніи.. И, повторяемъ, думается намъ, что

(а, стало быть, и Онѣгинъ): онъ разочарованъ, холоденъ, грустенъ (Ibid, 1—2, 56—7). И заключеніе романовъ одинаково: герои развѣнчаны героинями (Ibid 484), хотя, лишенные ореола, остаются имъ дороги. (Ibid, 490). Въ этомъ—оригинальность развязки романовъ Сталь: въ огромномъ большинствѣ романовъ XVIII вѣка герои, послѣ цѣлаго ряда испытаній обыкновенно достигаютъ полнаго счастья,—у Сталь, какъ мы видѣли, въ концѣ нѣтъ апоѳеоза любви, чего нѣтъ и въ „Евгеніи Онѣгинѣ“..

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 276. [2]) Ibid, 403. [3]) Ibid, 304, 367.

*

опять-таки романы подсказали ей и это лишнее признаніе, и эту отповѣдь Онѣгину, за которую такъ высоко ее ставятъ русскіе критики. Иначе поступить «идеальная» героиня не могла: ея «любовь» должна была быть вѣчна, чиста и безупречна, героиня должна «страдать», должна быть самоотверженной и не сходить съ пьедестала.

Прибавимъ, въ заключеніе, еще одинъ фактъ, необходимый для пониманія Татьяны,—именно признаніе Пушкина, что онъ срисовалъ свою героиню съ живого лица [1])...

Изъ всей этой группы фактовъ, собранныхъ нами для объясненія Татьяны, можно вполнѣ ясно возстановить тотъ процессъ созданія, который пришлось пережить Пушкинской героинѣ прежде, чѣмъ получить окончательную художественную отдѣлку.

Собранные нами довольно многочисленные примѣры доказываютъ, что типъ дѣвушки-любительницы романовъ, живущей въ мірѣ идеальныхъ героевъ—типъ, характерный для русской жизни: въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій росъ онъ и развивался. Пушкинъ наблюдалъ [2]) этихъ любительницъ и въ старшемъ поколѣніи русскихъ женщинъ, и въ поколѣніи своего возраста, и въ поколѣніи подростающемъ. Несомнѣнно, онъ встрѣчалъ не одну поклонницу Дельфины, читалъ не одно письмо, написанное языкомъ Юліи. Такимъ образомъ, для к о л л е к т и в н а г о т и п а матеріала у него было довольно [3]); но для художественнаго воплощенія ему нужна была натурщица,—такою оказалась, главнымъ образомъ, та женщина, о существованіи которой говоритъ онъ самъ,

[1]) Вопросъ о томъ, кто именно послужилъ оригиналомъ („натурщикомъ“) для типа Татьяны—рѣшить трудно. Съ одной стороны, г. Анненковъ („Пушк.“, 279) видитъ въ Татьянѣ и Ольгѣ отраженіе Анны и Евпраксіи Вульфъ, хотя тутъ же оговаривается, что создавія Пушкина „уже не носятъ на себѣ ни малѣйшаго признака портретовъ съ натуры“; съ другой стороны—А. Н. Раевскій, въ письмѣ къ Пушкину отъ 21-го августа 1824 (Сб. Бартенева, I, 77), сообщая ему разныя вѣсти объ одесской жизни, говоритъ, между прочимъ, и о Татьянѣ, которая приняла живое участіе въ постигшей Пушкина бѣдѣ, и о ея прелестной дочкѣ“. Кого слѣдуетъ видѣть въ этой одесской „Татьянѣ“—мы не знаемъ“. (Прим. издат., Соч. П-на, III, 405).

[2]) Пушкинъ самъ рекомендовалъ читательницамъ свое произведеніе, говоря, что онѣ „найдутъ подъ легкимъ покрываломъ сатирической веселости н а б л ю д е н і я в ѣ р н ы я и б е з п р и с т р а с т н ы я“ (Соч., III, 420).

[3]) „Коллективный типъ“, послужившій основаніемъ для Татьяны, несомнѣнно, намѣченъ Пушкинымъ въ слѣдующихъ словахъ: „Тѣ изъ моихъ читателей, которые не живали въ деревняхъ, не могутъ себѣ вообразить, что за прелесть эти уѣздныя барышни! Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта и жизни почерпаютъ изъ книжекъ.. Уединеніе, свобода и чтеніе рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсть“; онѣ очень впечатлительны, отличаются „самобытностью“ (Пушкинъ, Соч., IV, 76—7).

какъ объ оригиналѣ Татьяны. Но онъ, очевидно, не удовольствовался одной этой натурщицей,—онъ подошелъ къ своему созданію съ любимыми романами того времени въ рукахъ: создавая свою Татьяну, онъ вызывалъ въ памяти или, можетъ быть, даже перечитывалъ романы Руссо, Сталь и др. [1]),—отчего въ его произведеніи сказались такіе слѣды литературныхъ воздѣйствій, которые необъяснимы при одномъ изображеніи русской дѣйствительности [2]). Такимъ образомъ, отчасти и литературныя натурщицы (Юлія, Дельфина) помогли ему обрисовать правдиво художественный обликъ своей героини...

Прибавимъ въ заключеніе, что, если Ленскаго назвалъ Пушкинъ «полурусскимъ», то такою же полурусскою была въ значительной степени и Татьяна, воспитанная на западной литературѣ, живущая ея идеалами. Велика заслуга Пушкина, что онъ сумѣлъ удивительно живо и художественно воплотить этотъ характерный типъ полурусской женщины, выросшей въ глуши русской деревни..

---

[1]) О чтеніи „Клариссы“ говоритъ самъ Пушкинъ (Соч., VII, 92 212—3). [2]) Къ такимъ результатамъ литературнаго воздѣйствія можно отнести, повторяемъ, нѣкоторыя мѣста въ письмѣ Татьяны, мѣста, понятныя только при чтеніи Руссо: элементъ протеста въ жизни Татьяны, судьбу ея любви и нѣкоторыя другія совпаденія, подробнѣе указанныя выше. Что возможно говорить даже о прямомъ заимствованіи Пушкинымъ сюжета, объ имитаціи „писемъ“, etc —свидѣтельствуютъ опредѣленно, хотя бы, слѣдующія слова его о старыхъ романахъ, вложенныя въ уста одного изъ своихъ героевъ: „большею частью эти романы не имѣютъ другого достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо запутано, но Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный человѣкъ могъ бы взять здѣсь готовые характеры исправить слогъ и безсмыслицы, дополнить недомолвки—и вышелъ бы прекрасный, оригинальный романъ. Скажи это отъ меня моему неблагодарному Алексѣю П*. Пусть онъ по старой канвѣ вышьетъ новые узоры“ (Соч. А. Пушкина, IV, 353). О заимствованіи Пушкина у мелкаго писателя Боброва (см. Соч. Пушкина, VII, 57, 68), у Батюшкова, (I, 80) Жильбера (I, 131), Карамзина (I, 140), Шенье (I, 216) и мн. др. О такомъ характерѣ заимствованій, см. нашу работу „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“, стр. 16.

2. Онѣгинъ.

„Что-жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?
Ужъ не пародія-ли онъ?"

(„Евг. Онѣг.", гл. VII, стр. XXIV).

Литературная исторія Онѣгина сложилась совершенно такъ же, какъ и исторія типа Татьяны: изъ ряда однородныхъ явленій сначала создался лишь «коллективный типъ», который затѣмъ, благодаря работѣ автора съ «натурщикомъ», получилъ живое, художественное воплощеніе.

Къ сожалѣнію, для доказательства реальности Онѣгинскаго облика въ нашемъ распоряженіи не окажется такого числа историческихъ фактовъ, взятыхъ непосредственно изъ жизни, сколько было, когда мы говорили выше о Татьянѣ. Это вполнѣ понятно: Онѣгинъ—типъ болѣе скоропреходящій, чѣмъ типъ Татьяны: даже поколѣніе, близкое къ нему по времени, уже не узнавало въ немъ живого человѣка [2]),—немудрено, что «специфическія» черты этого образа исчезли изъ русской жизни довольно быстро: увлеченіе имъ было, такъ сказать,

---

[1]) Ключевскій, „Евгеній Онѣгинъ и его предки", „Р. М.", 1887, № 2, 293. (Цитуемая статья почтеннаго ученаго, повидимому, близкая къ нашей работѣ по заглавію, однако совершенно расходится по своимъ задачамъ: для проф. Ключевскаго пушкинскій герой—лишь предлогъ для того, чтобы бросить широкій взглядъ на всю прошлую жизнь русской земли,—мы ставимъ свою задачу гораздо уже).

«минутнымъ»,— а потому, вслѣдъ за преклоненіемъ передъ Байрономъ, перевелись у насъ и байронисты—Онѣгины и Печорины, не успѣвъ оставить рѣзкаго слѣда въ современныхъ мемуарахъ...

Но если мемуары и записки почти не помогутъ намъ доказать, что во время появленія въ свѣтъ романа Пушкина въ тогдашнемъ обществѣ было не мало Онѣгиныхъ, — то поможетъ намъ въ этомъ отношеніи тогдашняя критика..

Князь Вяземскій, напримѣръ, даже въ слабыхъ, неясныхъ очертаніяхъ героевъ «Кавказскаго плѣнника» и «Цыганъ» узналъ современнаго человѣка: «подобныя лица часто встрѣчаются взору наблюдателя въ нынѣшнемъ положеніи общества»—говоритъ онъ о «Кавказскомъ Плѣнникѣ» [1]); Алеко, у него—«прототипъ поколѣнія нашего; лицо не условное—нѣтъ, перенесенное изъ общества» [2]). Разумѣется поэтому, и Онѣгинъ казался ему живымъ лицомъ.. Булгаринъ даже прямо заявилъ, что Онѣгиныхъ онъ встрѣчалъ въ Петербургѣ «дюжинами» [3]); Полевой призналъ въ героѣ Пушкинскаго романа «знакомаго» человѣка, внутреннюю жизнь котораго онъ уже самъ «чувствовалъ», хотя безъ помощи Пушкина «не умѣлъ объяснить» [4]). Критикъ «Благонамѣреннаго» увидалъ въ Онѣгинѣ «портретъ воспитаннаго по модѣ русскаго дворянина» [5]); критикъ «Московскаго Вѣстника» нашелъ въ пушкинскомъ героѣ «много русской правды» [6]). Кирѣевскій по поводу Онѣгина замѣтилъ, что «нѣтъ ничего обыкновеннѣе такого рода людей»,—поэтъ «цѣлый классъ людей представилъ въ его портретѣ» [7]). Шевыревъ назвалъ Онѣгина «ходячимъ типомъ западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ» [8]). Заключимъ свои примѣры указаніемъ на то, что проф. Ключевскій въ своей рѣчи о Пушкинѣ, произнесенной въ день открытія памятника поэту, замѣтилъ, что «въ поэмахъ и романахъ Пушкина выставлены многіе типы XVIII и начала XIX вѣка, которые наглядно знакомятъ насъ съ характеромъ эпохи» [9]),—дальше идетъ перечисленіе такихъ типовъ, и среди нихъ Онѣгину отведено свое мѣсто. Это признаніе за героемъ Пушкина исторической вѣрности, признаніе, идущее отъ такого компетентнаго судьи, какъ проф. Ключевскій, должно вполнѣ увѣрить насъ въ томъ, что для «коллективнаго типа» Пушкинъ могъ въ изобиліи найти матеріала въ русской жизни.

Что же такое этотъ Онѣгинъ, черты котораго настолько заинтересовали Пушкина, что онъ занимался ихъ проясненіемъ чуть не въ теченіе всей своей литературной жизни?—Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и «Кавказскій

---

[1]) Вяземскій, Соч., I, 76. [2]) Ibid., 316. [3]) „Сѣверная Пчела“, 1826, № 132. [4]) „Моск. Телеграфъ“, 1825 г., ч. 2, № 5, 48. [5]) „Благонамѣренный“, 1825, ч. 29, № 9, 326. [6]) „Московскій Вѣстникъ“, 1828. ч. 7, № 4, 465. (статья N.N.). [7]) „Московск. Вѣстн.“, 1828, ч. 8, № 6, 192. (статья 9. 11). [8]) Трубачевъ, „Пушкинъ въ русской критикѣ“, 287. [9]) „Вѣнокъ на памятникъ Пушкина“, 32—3.

плѣнникъ», и Алеко изъ «Цыганъ», и, отчасти, нѣкоторые герои его повѣстей [1])—несомнѣнные родственники Евгенія по духу... Думается намъ, что для объясненія пушкинскаго героя мы должны опять-таки обратиться прежде всего къ его библіотекѣ: излюбленныя книги Онѣгина раскроютъ передъ нами его душу, а, кромѣ того, выяснятъ, какъ самъ творецъ смотрѣлъ на свое созданіе.

Припомнимъ строфы пушкинскаго романа, въ которыхъ говорится о томъ, какъ Татьяна забралась въ деревенскую библіотеку Онѣгина и стала перерывать его книги. Что же оказалось?—

„Хотя мы знаемъ, что Евгеній
Издавна чтенье разлюбилъ,
Однако жъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ:
Пѣвца Гяура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три *романа*,
Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданный безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ“ [2]).

Эти романы не только «читаются» Онѣгинымъ: они имъ изучаются,— «на ихъ поляхъ» Татьяна—

„...встрѣчаетъ
Черты его карандаша:
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ,
То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ“ [3]).

И далѣе слѣдуютъ знаменательныя слова:

„И начинаетъ понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что-жъ онъ? Ужели подражанье,

[1]) Таковы, напримѣръ, Сильвіо („Выстрѣлъ“, Соч. П—на, IV, стр. 35, 37), Алексѣй („Барышня-крестьянка“, Ibid. 77, 86) и др. [2]) Пушкинъ, Соч., III, 366—7. [3]) Ibid. 367.

Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?
Ужъ не пародія ли онъ?“ [1])

Слово найдено. Да, онъ—пародія на литературныхъ героевъ, и притомъ пародія не такая поэтическая и невинная, какъ мечтательница-Таня, а болѣе опасная и непріятная, такъ какъ это—пародія на героевъ, проникнутыхъ безпросвѣтнымъ эгоизмомъ, скептицизмомъ, лишенныхъ и тѣни идеализма...

Припомнимъ жизнь Онѣгина въ Петербургѣ, когда онъ весь отдавался «наукѣ страсти нѣжной»... У кого научился 18-ти лѣтній «философъ», только-что вступившій въ жизнь, «лицемѣрить, тапть надежду, ревновать, разувѣрять, заставить вѣрить, казаться мрачнымъ, изнывать, являться гордымъ и послушнымъ, внимательнымъ иль равнодушнымъ» и пр.? [2])... Кто выучилъ его—

„Невинныхъ лѣтъ предубѣжденья
Умомъ и страстью побѣждать...

Подслушать сердца первый звукъ,
Преслѣдовать любовь...

Какъ рано могъ ужъ онъ тревожить
Сердца кокетокъ записныхъ!
Когда жъ хотѣлось уничтожить
Ему соперниковъ своихъ,
Какъ онъ язвительно злословилъ!
Какія сѣти имъ готовилъ!“ [3])

Изъ всего этого мы видимъ въ юношѣ-Онѣгинѣ уже ловкаго «спеціалиста по любовнымъ дѣламъ», умудреннаго «наукой»... Пушкинъ помогаетъ намъ понять, откуда получилъ Онѣгинъ свои знанія,—

„Любви насъ не природа учитъ,
. . . . . .
Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,—
И узнаемъ ее въ романѣ...
...Онѣгинъ это испыталъ“ [4]).

Какой же «романъ» научилъ Онѣгина «жизни», послужилъ для него школой любви? Пушкинъ опять самъ рѣшаетъ наше недоумѣніе: его герой, оказывается, въ ранней юности увлекался «славою Ловласа» [5]).

Ловласъ, герой ричардсоновскаго романа «Кларисса Гарлоу», дѣйствительно, обольстительный образчикъ «покорителя женскихъ сердецъ», до

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 238. [2]) Ibid. 367. [3]) Ibid., 239. [4]) Ibid, 238. [5]) Ibid, 304.

сихъ поръ не увядшій, а въ свое время, къ великому горю добродѣтельнаго автора, очаровавшій массу читателей и читательницъ... Этотъ неотразимый прелестникъ выработалъ въ себѣ искусство «покорять» женщинъ [1]); онъ изучилъ «психологію женскаго сердца» [2]), и побѣды ему легки, но за легкими побѣдами онъ не гоняется [3]): «борьба» увлекаетъ его [4]), трудная «охота» [5]) ему особенно пріятна. Однимъ словомъ, это — образцовый обольститель, которому, повидимому, очень удачно подражалъ 18-ти лѣтній Онѣгинъ [6]).

Но, какъ извѣстно, чувства нашего Онѣгина рано остыли: «слава Ловласова въ его глазахъ обветшала» [7]),—явилось разочарованіе, овладѣла имъ хандра, и на смѣну Ловласу другіе герои сдѣлались его образцами,—

„Какъ Child Harold, угрюмый,—томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ;
Ни сплетни свѣта, ни бостонъ,
Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескромный,
Ничто не трогало его.
Не замѣчалъ онъ ничего...“ [8])—

Неутомимый «охотникъ»-Ловласъ поднадоѣлъ ему—и, вотъ, нашъ Онѣгинъ красиво драпировался въ плащъ Чайльдъ-Гарольда и другихъ родственныхъ ему по духу «скорбниковъ».

Когда на его пути встала дѣвушка, съ которой ему не предстояло никакой «борьбы», онъ оттолкнулъ ее, прикрываясь изъ вѣжливости холодомъ своей души... Не такъ ли и учитель его, Чайльдъ-Гарольдъ, отнесся къ Флорансѣ?—

„Флоранса! если бъ сердце это
Я для любви не схоронилъ,
Тогда бъ, повѣрь, любовь поэта

---

[1]) Richardson, „Clarisse“, I, 423, 426, 430, 435, 440, II, 22, 27, VI, 212, IV, 54, 63. [2]) Ibid., IV, 298. [3]) Ibid., V, 249. [4]) Ibid, V, 249. [5]) Ibid, IV, 221. [6]) Пушкинъ хорошо зналъ романъ Ричардсона. Хотя онъ и скучалъ за нимъ, но, тѣмъ не менѣе, даже въ 1834 г. признавалъ за нимъ „необыкновенное достоинство“ (Соч., V, 216; еще: 249). Герои и героини Пушкина тоже хорошо знаютъ это произведеніе (Соч., III, 275, 303, IV, 350—1). Кромѣ Ловласа, хорошимъ учителемъ въ любовныхъ дѣлахъ былъ у насъ еще одинъ романическій герой—Фобласъ (Соч., III, 239, 303; IV, 358).. Что касается до Онѣгина, то не потому-ли, между прочимъ, онъ пренебрегъ Татьяной, что ему легкая побѣда, какъ Ловласу, была слишкомъ неинтересна: „скучно было лицемѣрить“, „уничтожать предразсужденья, которыхъ не было и нѣтъ у дѣвочки въ тринадцать лѣтъ“ (Соч., III, 304). [7]) Пушкинъ, Соч., III, 303. [8]) Ibid., 250. Интересно, что самъ Пушкинъ, прежде обѣщавшій друзьямъ произведеніе въ родѣ „Донъ-Жуана“ (Соч., VII, 56, 72), потомъ круто измѣнилъ свои первоначальные планы (Ibid., 117),—и его молодой вѣтреникъ, подъ вліяніемъ Чайльдъ-Гарольда, получилъ совсѣмъ другое освѣщеніе.

Къ твоимъ ногамъ я положилъ.
Но ты не можешь быть моею:
У насъ различные пути...“ [1]).

Впрочемъ, пушкинскій герой не прочь пародировать иногда и модныхъ героевъ совсѣмъ иного пошиба. Напримѣръ, вся «проповѣдь» Онѣгина по адресу Татьяны, проповѣдь, которая оканчивается наставленіемъ:

„Учитесь властвовать собой!
Не всякій васъ, какъ я, поймет,—
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ“ [2])—

—въ его устахъ звучитъ какою-то непроходимою фальшью [3]),—и намъ невольно припоминается идеальный Грандисонъ [4]), который любилъ читать подобныя нравоученія «неопытнымъ» дѣвицамъ, предлагавшимъ ему свою любовь...

Если мы обратимся теперь къ письму Онѣгина, то и тутъ мы встрѣтимся съ тѣмъ же вліяніемъ романовъ: на сцену появляется Руссо, съ извѣстнымъ уже намъ романомъ: «Новая Элоиза».

Сдѣлаемъ нѣсколько сопоставленій:

„Предвижу все: васъ оскорбитъ“ [5])—

«Предвижу впередъ всю силу вашего негодованія [6])...»

„Чтобъ продлилась жизнь моя.
Я утромъ долженъ быть увѣренъ,
Что съ вами днемъ увижусь я!“ [7])—

«Я долженъ видѣть тебя каждый день... Я не могу жить безъ тебя я это чувствую!» [8])

„Желать обнять у васъ колѣни
И, зарыдавъ, у вашихъ ногъ
Излить мольбы, признанья, пени“ [9])...—

«Сто разъ на день порывался я кинуться къ вашимъ ногамъ, облить ихъ моими слезами...» [10])

„...притворнымъ хладомъ
Вооружить и рѣчь, и взоръ,
Вести спокойный разговоръ,
Глядѣть на васъ спокойнымъ взглядомъ...“ [11]).

---

[1]) Байронъ, Соч., I, 214. [2]) Пушкинъ, Соч., III, 308. [3]) Самъ Пушкинъ подчеркиваетъ эту фальшь ироническимъ: „...такъ проповѣдовалъ Евгеній“ (Ibid.). [4]) Герой другого романа Ричардсона. [5]) Пушкинъ, Соч., III, 395. [6]) J. J. Rousseau, „Nouv. Héloise“, 32. [7]) Пушкинъ, Соч., III, 396.– [8]) J. J. Rousseau, 122. [9]) Пушкинъ, Соч., Ш, 397. [10]) J. J. Rousseau, 32. [11]) Пушкинъ, 397.

«Какъ сохранить спокойствіе при такомъ волненіи?.. Какъ думать о разныхъ вещахъ, когда занятъ только однимъ?.. Нужно сдерживать рыданія; надо улыбаться, умирая...» [1]) и т. д.

Прибавимъ къ этимъ примѣрамъ указаніе, что Онѣгинъ передъ сочиненіемъ своего письма такъ же бросился къ книгамъ, какъ раньше Татьяна; правда, онъ читалъ самыя разнообразныя произведенія, но фигурируютъ тутъ, между другими авторами, и Руссо, и M-me Сталь [2])...

Какъ и типъ Татьяны, типъ Онѣгина, разочароваинаго, скучающаго юноши, для котораго изсякли живыя радости юности, намѣчается въ русской жизни со второй половины XVIII вѣка. Опять Карамзинъ поможетъ намъ въ нашихъ поискахъ: онъ и въ жизни столкнулся съ такимъ человѣкомъ, и въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ не разъ намѣчалъ черты героя, уже смахивающаго немного на Онѣгина...

Мы говоримъ о другѣ его А. А. Петровѣ, юношѣ, который рано извѣрился въ жизни, рано замкнулся въ себѣ и для всѣхъ непосвященныхъ казался «мизантропомъ», нелюдимомъ, чудакомъ, если и не опаснымъ, то «непріятнымъ» [3])... Только въ присутствіи юнаго Карамзина открывалась его усталая душа, и въ ней увидѣлъ нашъ писатель много такого, что было сокрыто отъ взора другихъ [4]). Мы знаемъ, что и Онѣгинъ могъ оттаивать иногда,—для этого ему тоже нуженъ былъ подходящій слушатель: Пушкинъ вспоминалъ, какъ они сентиментальничали по ночамъ съ Онѣгинымъ, какъ,—

„Воспомня прежнихъ лѣтъ романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы! [5])
. . . . . .
Такъ уносились мы мечтой [5])
Къ началу жизни молодой!“

Конечно, основанія для тоски у Петрова были болѣе важныя: его мучили вопросы: «что я есть и что я буду?» [6]).—Въ вопросахъ любви онъ былъ, вѣроятно, настоящимъ ребенкомъ, но, въ сущности, складъ души у обоихъ одинаковъ. Прибавимъ къ этому живому образу литературный, вымышленный, «Ліодора» [7])—героя одной неоконченной Карамзинымъ повѣсти. Передъ нами опять разочарованный, холодный, ко всему равнодушный юноша, которому нѣтъ дѣла до человѣчества, который живетъ вдали отъ людей, чуждается ихъ... Глядя на него, невольно припо-

[1]) J. J. Rousseau, 110. [2]) Пушкинъ, 398. [3]) Карамзинъ, Письма къ Дмитріеву, 27. [4]) Ibid, 34; см. еще: „Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона“ (Соч. Карамзина, III т.). [5]) Пушкинъ, Соч., III, 253—4. [6]) См. нашу работу: „Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ Русскаго Путешественника“, 50 и др. [7]) „Моск. Журн.“, V, 305—335.

минаемъ мы и Рэнэ, и героевъ Сталь (Освальда и Мондовиля), и нашего Онѣгина, какимъ онъ былъ, когда переѣхалъ въ деревню... Стоитъ только прибавить къ этимъ двумъ образамъ эгоизмъ, выраженный рѣзко, какъ у Онѣгина и Печорина,—и мы невольно признаемъ преемственность типа «разочарованнаго» юноши, начиная съ карамзинской эпохи [1]).

Позднѣе, Батюшковъ переживалъ минуты такой же рѣзкой и глубокой разочарованности; недаромъ онъ зачитывался «Рэнэ» Шатобріана, недаромъ почтенный біографъ поэта академикъ Л. Н. Майковъ объяснялъ настроеніе своего героя, опять-таки, при помощи Рэнэ..

Изъ современниковъ Пушкина остановимъ наше вниманіе на А. Раевскомъ, хорошемъ знакомомъ нашего поэта; душа этого юноши была отмѣчена чертами, очень близкими къ онѣгинскимъ. Впрочемъ, у Раевскаго эти черты значительно рѣзче, глубже, чѣмъ у Онѣгина; недаромъ его образъ вдохновилъ Пушкина на созданіе такого сильнаго произведенія, какъ «Демонъ» [2])—

Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Непстощимой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ,
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновленье презиралъ...
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ! [3])

---

[1]) Если въ сентиментальной литературѣ (Юнгъ, Оссіанъ) намѣчаются уже мотивы этой душевной тоски, а въ „Вертерѣ“ мы имѣемъ уже типичнаго „скорбника“; то послѣ французской революціи „разочарованіе“, „хандра“, вырождается у Шатобріана въ пассивный эгоизмъ, а у Байрона—въ эгоизмъ боевой, граничащій порой съ человѣконенавистничествомъ. (Объ отношеніи Пушкина къ Байрону и Шатобріану см. нашу работу: „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“). [2]) То обстоятельство, что самъ Пушкинъ намѣревался печатно утверждать, будто „Демонъ“ вовсе не портретъ Раевскаго (Соч. I, 292),—ничего не доказываетъ: 1) своего объясненія, очень, къ тому же, нерѣшительнаго, онъ не напечаталъ,—стало быть, отказался отъ мысли опровергать общее мнѣніе о томъ, что А. Раевскій—оригиналъ „Демона“.—2) подобныя „объясненія“ Пушкина, сами по себѣ, цѣны особой не имѣютъ, такъ какъ онъ иногда пытался маскировать этимъ способомъ свои художественные замыслы: напримѣръ, онъ рѣшительно отвергъ всякое сходство между Онѣгинымъ и собою, хотя въ то же время въ частныхъ письмахъ прямо говоритъ, что жизнь героя въ деревнѣ срисовалъ со своей собственной,—3) самъ Раевскій призналъ себя въ „Демонѣ“; многіе знавшіе его (Вигель, Е. Н. Раевская), тоже подтверждаютъ это... [3]) Пушкинъ, Соч., I, 292.

Конечно, здѣсь передъ нами оригиналъ идеализированъ,—въ красивой позѣ поставленъ онъ на пьедесталъ, освѣщенъ искусственно и облеченъ въ приличное демону одѣяніе,—но, стоитъ свести этого демона съ пьедестала, одѣть на него широкій боливаръ, модный костюмъ и лакированные ботфорты,—и передъ нами, какъ живой, встаетъ Раевскій-Онѣгинъ...

Вигель, знавшій Раевскаго близко, рисуетъ его человѣкомъ гордымъ, независимымъ, «съ непріязненнымъ чувствомъ ко всему человѣчеству...» «Въ немъ не было честолюбія, но изъ смѣшенія чрезмѣрнаго самолюбія, лѣни, хитрости и зависти составленъ былъ его характеръ» [1]). Наружность его сохранила еще нѣкоторую пріятность, хотя тѣлесные и душевные недуги уже изсушили его и наморщили его чело. Въ умѣ его была твердость, но безъ всякаго благородства. Поэзія была ему дѣло вовсе чуждое (ср. Онѣгина), равномѣрно и нѣжныя чувства [2]) (ср. Онѣгина), въ которыхъ видѣлъ онъ одно смѣшное сумасбродство» [3]). Съ женщинами онъ обращался «умѣло» и побѣды одерживалъ надъ ними легко, почему скоро и прослылъ опаснымъ человѣкомъ, и всѣ старались учтиво уклоняться отъ него [4]). Сестра Раевскаго, Екатерина Николаевна, утверждаетъ, будто «разочарованіе» брата было напускнымъ, будто ему хотѣлось «потрунить» надъ Пушкинымъ, и потому онъ сталъ корчить ничѣмъ недовольнаго, разочарованнаго, надо всѣмъ глумящагося человѣка; поэтъ поддался искусной мистификаціи и написалъ своего «Демона» [5]).. Но едва ли эта «мистификація», обманувшая не одного Пушкина, а многихъ, была только шалостью,—слишкомъ ужъ она продолжительна и серьезна, если слѣды ея сказались не только на одномъ лирическомъ произведеніи, но и на письмѣ Пушкина, писанномъ, какъ думаютъ, все къ тому же Демону-Раевскому. Въ одномъ изъ такихъ писемъ мы видимъ обращеніе поэта къ какому-то «учителю», который совѣтовалъ ему въ жизни быть «férose, tyran, vindicatif», который училъ его презирать людей, проповѣдывалъ эгоизмъ, рѣшительный, жестокій [6])...

Этотъ образъ настолько близокъ къ Онѣгину, что мы рѣшаемся видѣть въ А. Раевскомъ главнаго «натурщика» для героя пушкинскаго романа. Это подтверждается, между прочимъ, сличеніемъ двухъ отрывковъ: одного, относящагося къ «Демону», другого—къ «Онѣгину».

«Демонъ», какъ извѣстно, начинается съ повѣствованія о томъ, какъ безмятежная жизнерадостность поэта была сначала омрачена скептицизмомъ «Демона», а потомъ была имъ побѣждена.

---

[1]) Вигель, Воспоминанія, VI, 169. [2]) Ibid, 170. [3]) Ibid, 171. [4]) Вигель, Воспоминанія, 171. [5]) Складчина, 373. [6]) Пушкинъ, Соч., VII, 25—6. Какъ увидимъ ниже, подобные же совѣты въ 1822 г. подавалъ своему брату самъ Пушкинъ (Ibid., 43—4).

То же находимъ мы и въ «Евгеніи Онѣгинѣ»:

„Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ“ [1]).

Въ черновыхъ наброскахъ мы найдемъ болѣе подробное объясненіе того, какъ овладѣвалъ Онѣгинъ-Демонъ душою поэта, уже подготовленнаго жизнью къ подобнымъ вліяніямъ:

Черновые наброски „Демона“.	Варіанты къ XLV строфѣ 1-й главы Онѣгина.
„Таковъ онъ былъ...	„. . . . .
Мое спокойное незнанье	Мнѣ было грустно, тяжко, больно,
Страстями возмущалъ,	Но одолѣвъ мой умъ въ борьбѣ,
И я его существованье	Онъ сочеталъ меня невольно
Съ своимъ, невиннымъ сочеталъ.	Своей таинственной судьбѣ;
Я видѣлъ міръ его глазами...	Я сталъ взирать его очами,
Онъ обѣщалъ...	Съ его печальными рѣчами
Истолковать мнѣ все творенье,	Мои слова звучали въ ладъ,
И разгадать добро и зло...	Мою задумчивую младость
Непостижимое волненье	Онъ для восторговъ охладилъ,
Меня къ лукавому влекло...	Я неописанную сладость
. . . . .	Въ его бесѣдахъ находилъ,
Я сталъ взирать его глазами,	Я сталъ взирать его очами;
Мнѣ жизни дался бѣдный кладъ,	Открылъ я жизни бѣдной кладъ,
Съ его неясными словами	Въ замѣну вѣры и надеждъ
Моя душа звучала въ ладъ“ [2])...	Для легкомысленныхъ невѣждъ“ [3])...

Если мы къ этому сближенію прибавимъ еще бѣглую характеристику, которую далъ Пушкинъ Онѣгину, назвавъ его «надменнымъ бѣсомъ», и хронологическую близость обоихъ произведеній (1823 г.),—то мы должны будемъ признать, что А. Раевскій, послужившій оригиналомъ для «Демона», въ такой же мѣрѣ близокъ и къ Онѣгину.

Кромѣ этого живого лица, очевидно, былъ у Пушкина «натурщикъ», взятый изъ литературы: поэтъ самъ указывалъ не разъ на Чайльдъ-Гарольда, какъ на образчикъ, которому подражалъ Онѣгинъ, распростившись съ Ловласомъ: объ этомъ Пушкинъ говоритъ то въ подстрочномъ примѣчаніи: «черта охлажденнаго чувства, достойная Чайльдъ-Гарольда» [4]), то не разъ прямо сравниваетъ своего героя съ Child Harold'омъ... [5]) Наконецъ, кое-какія мелочи для своего Онѣгина списалъ Пушкинъ съ себя: многія мелкія черты его жизни въ Михайловскомъ повторены въ романѣ съ буквальною точностью,—объ этомъ

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 252—3. [2]) Пушкинъ, Соч., I, 293. [3]) Ibid, III, 253. [4]) Ibid, 243. [5]) Ibid, 250, 319.

свидѣтельствуетъ, между прочимъ, Анненковъ: альбомъ Онѣгина, его костюмъ, времепрепровожденіе въ деревнѣ, отношеніе къ сосѣдямъ-помѣщикамъ—все это взято изъ жизни самого поэта [1]). Самъ Пушкинъ признавалъ это: «въ 4-й пѣснѣ Онѣгина я изобразилъ свою жизнь» [2]),—писалъ онъ Вяземскому; у сосѣдей своихъ деревенскихъ онъ, оказывается, «пользовался репутаціей Онѣгина» [3]), жизнь свою онъ проводилъ, какъ «совершенный Онѣгинъ» [4]). Интересно, что это сходство не было только внѣшнимъ. Письмо Пушкина къ брату говоритъ намъ, что между нимъ и его героемъ было и духовное сродство. Въ самомъ дѣлѣ, насыщенный уроками Раевскаго, А. С. Пушкинъ, въ свою очередь, совершенно серьезно совѣтуетъ брату «презирать людей», относиться ко всѣмъ холодно, не увлекаться дружбой, не выказывать своей любви къ женщинамъ, чтобы тѣмъ вѣрнѣе обладать ими... Всѣ эти уроки, по словамъ Пушкина, были результатомъ его «douloureuse experience» [5])...

Изъ всѣхъ этихъ данныхъ, собранныхъ нами для объясненія исторіи Онѣгина, видно, какимъ сложнымъ путемъ шло художественное воплощеніе того образа, въ которомъ современники Пушкина почти единогласно признали знакомыя черты моднаго молодого человѣка. Съ необыкновеннымъ искусствомъ сохранилъ Пушкинъ въ теченіе многихъ лѣтъ основныя черты своего героя и, мѣняя много разъ «натурщиковъ», тѣмъ не менѣе, не исказилъ его сущности. Въ самомъ дѣлѣ, и Ловласъ, и Чайльдъ-Гарольдъ, и Раевскій, и самъ поэтъ, отчасти С.-Прё и Грандисонъ удѣлили, каждый кое-что, въ бо́льшей или меньшей мѣрѣ, Онѣгину,—а въ результатѣ, изъ всѣхъ этихъ мозаичныхъ кусочковъ создался образъ, всегда вѣрный себѣ.

Въ чемъ же «сущность» этого образа? Думается намъ, главное въ Онѣгинѣ, это именно то, что онъ—«пародія», что это существо, ломающееся, копирующее «чужую» жизнь [6]). За это судьба и покарала его: когда живое, искреннее чувство овладѣло имъ, когда онъ забылъ свои ужимки и снялъ съ себя маскарадныя украшенія,—было уже поздно. Между тѣмъ, можно думать, что любовь къ Татьянѣ проснулась въ его сердцѣ гораздо раньше вторичнаго свиданья: вѣдь въ Петербургѣ онъ съ первой встрѣчи обратилъ на нее особое вниманіе; онъ, получивъ ея посланіе,—

[1]) Анненковъ, „Матеріалы...“, 43, 67, 111: «Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, 235, 270. См. объ этомъ еще „Русск. Стар.“, 1899, № 5, 273—5. [2]) Пушкинъ, Соч., VII, 182. [3]) Ibid, 94. [4]) Ibid, 96. [5]) Ibid, 43—4. [6]) Другіе герои Пушкинскихъ произведеній тоже грѣшатъ этимъ же: Сильвіо, по натурѣ добродушный (IV, 37) человѣкъ, корчитъ изъ себя какого-то „рокового героя“ (IV, 35); Чайльдъ-Гарольдомъ представился Алексѣй (Ibid., 77),—онъ оказывается даже „размышлялъ о томъ, какую роль играть ему“ въ присутствіи героини,—и рѣшилъ, что холодная разсѣянность „всего приличнѣе“ (Ibid, 86). Влади-

„...живо тронутъ былъ:
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ
. . . . . .
И въ сладостный, безгрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ“ [1]).

Ея письмо онъ бережно сохранилъ [2]), и въ своей «холодной» проповѣди не сумѣлъ скрыть искорокъ любви:

„Я, с к о л ь к о н и л ю б и л ъ бы васъ,
. . . . . .
Я васъ люблю любовью брата
И, можетъ быть, е щ е н ѣ ж н ѣ й“ [3]).

Прибавимъ къ этому пропущенную строфу (VI, гл. III), въ которой Пушкинъ изобразилъ своего героя сразу влюбившимся въ Татьяну:

Въ постелѣ лежа, нашъ Евгеній
Глазами Байрона читалъ,
Но день невольныхъ размышленій
Татьянѣ милой посвящалъ.
Проснулся онъ сегодня ранѣ —
И мысль была все о Татьянѣ.
„Вотъ новое!“—подумалъ онъ:
„Неужто я въ нее влюбленъ?

„Посмотримъ!“—И тотчасъ рѣшилъ
Сосѣдокъ навѣщать исправно.
Какъ можно чаще, всякій день:
„Вѣдь имъ досугъ, а мнѣ не лѣнь!“
Рѣшилъ, и скоро сталъ Евгеній,
Какъ Ленскій“ [4])...

Такая легкая покорность чувству и простое, правдивое отношеніе къ любви было, конечно, не въ духѣ Онѣгина,—и эта интересная строфа выпущена была, какъ искажающая образъ героя, полнаго фальши и лжи даже передъ самимъ собою. Объ этой лжи говоритъ самъ поэтъ, когда, представляя читателю, вторично, послѣ долгой разлуки, своего героя, лукаво спрашиваетъ:

„Все тотъ же ль онъ, иль усмирился?
Иль к о р ч и т ъ такъ же ч у д а к а?“

міръ Z., чтобы произвести бо́льшее впечатлѣніе, напускаетъ на себя „fatuité insolente“. (Ibid, 357), „корчитъ г-на Фобласа“ (Ibid, 358). Такимъ образомъ, начиная съ „Кавказскаго плѣнника“ и кончая героями повѣстей, Пушкинъ нѣсколько разъ рисовалъ человѣка, играющаго роль,—но, если создавая своего Плѣнника, поэтъ вѣрилъ еще тому, что рисуетъ дѣйствительно страдающаго героя, то съ каждымъ новымъ типомъ онъ все правдивѣе смотрѣлъ на своихъ героевъ,—и въ послѣднихъ произведеніяхъ, совершенно объективныхъ, прямо и рѣшительно изобличаетъ въ нихъ лицѣ обезъяничанье русскаго общества.

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 262. [2]) Ibid., 305. [3]) Ibid., 390, [4]) Ibid., 307—8.

Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ **представитъ** онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патріотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнетъ иной?
Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?
По крайней мѣрѣ, мой совѣтъ:
Отстать отъ моды обветшалой.
. . . . . .
Довольно онъ **морочилъ** свѣтъ“ [1]).

Эти слова еще разъ подтверждаютъ сказанное нами, что Пушкинъ хотѣлъ въ своемъ героѣ изобразить одну изъ тѣхъ многочисленныхъ «пародій», которыми кишѣлъ тогдашній «свѣтъ». Многіе изъ этихъ мельмотовъ, космополитовъ, патріотовъ, гарольдовъ etc. были часто «добрые малые», но они старательно «морочили» себя и другихъ, волочась за модой, «корчили изъ себя чудаковъ», «носили маски»... Самъ Пушкинъ сильно грѣшилъ этимъ въ юности,—очень грѣшилъ и его герой. Съ лѣтами у обоихъ проснулась жажда правды, искренности...

Правда, Онѣгинъ и при вторичномъ свиданіи немного попробовалъ еще поломаться передъ Татьяной, но какъ легко онъ бросилъ все это, побѣжденный правдой своего чувства!.. Любовь овладѣваетъ имъ,—и холодные, «разочарованные герои» романовъ забываются, — «надменный бѣсъ» обращается въ несчастнаго человѣка [2])...

Что въ лицѣ Онѣгина Пушкинъ рисовалъ «русскую пародію», видно, наконецъ, изъ того, что **настоящая** душа его героя не разъ себя обнаруживала въ теченіе всего романа. Припомнимъ въ первой главѣ бесѣды Онѣгина съ поэтомъ, когда они,—

„Воспомня прежнихъ лѣтъ романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ почи благосклонной
Безмолвно упивались...“ [3])

Они тогда «уносились мечтой къ началу жизни молодой [4])»,—и душа Онѣгина была тогда «полна сожалѣній»[5])... Дружба его съ Ленскимъ тоже показываетъ, что не всегда онъ корчилъ мизантропа, что порою свое холодное презрѣніе ко всѣмъ людямъ, безъ изъятья, смѣнялось у него добродушной, снисходительной «улыбкой», въ которой сквозитъ живое

---

[1]) Ibid., 282—3. [2]) Пушкинъ, Соч., III, 385. [3]) Ibid. 391, 393, 394—5, 395—7, 399. [4]) Ibid., 254. [5]) Ibid., 253.

чувство симпатіи[1]). Для «человѣконенавистника» онъ слишкомъ большое значеніе предавалъ смерти Ленскаго, «окровавленная тѣнь» котораго—

„Ему являлась каждый день“ [2]).

Для человѣка, въ которомъ умерли всѣ чувства, онъ слишкомъ легко отдается сердечному волненію; вѣдь онъ—

„...чуть съ ума не своротилъ,
Или не сдѣлался поэтомъ...“ [3])

---

*

3. Ленскій.

„Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь,
И кудри черные до плечъ“...

(„Евг. Онѣг.“, гл. II, стр. VI).

Поэтическій образъ юнаго Ленскаго, рано унесеннаго могилою, обрисованъ Пушкинымъ очень бѣгло: передъ нами, въ сущности, только характеристика юноши и затѣмъ, какъ бы иллюстрація къ ней, стихи, сочиненные имъ передъ дуэлью. Но и этого немногаго, даннаго Пушкинымъ, вполнѣ достаточно для вѣрнаго пониманія внутренней жизни Ленскаго.

Кромѣ этой существенной поддержки, идущей отъ самого Пушкина, данныя, почерпнутыя непосредственно изъ русской дѣйствительности той эпохи, помогутъ намъ доказать: 1) что, подобно Татьянѣ и Онѣгину, этотъ второстепенный герой пушкинскаго романа не вымышленъ великимъ художникомъ, а взятъ изъ русской жизни,—и 2) что художественное воплощеніе этого типа шло тѣмъ же порядкомъ, какой былъ указанъ нами выше, когда рѣчь шла о главныхъ герояхъ романа.

Что касается до Ленскаго, то выяснить его внутренній міръ можно легко изъ той прекрасной характеристики его, которую далъ самъ Пушкинъ въ строфахъ: VI—XII, XIII, XVI, XX, XXII второй главы: передъ нами обрисовывается очень яркими чертами образъ юноши-«die schöne Seele», «прекраснодушнаго» мечтателя-идеалиста, вѣрящаго утопіямъ, политическимъ и моральнымъ, сентиментальнаго, романтическаго...

Этотъ типъ сложился во второй половинѣ XVIII вѣка, въ «туманной Германіи» и нѣсколько позднѣе, къ концу того же вѣка, ярко обрисовался и у насъ [4]).

---

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 267—8. [2]) Ibid., 387, 399. [3]) Ibid., 399. [4]) См. нашу работу „Н. М. Карамзинъ“, стр. 115, 40, Кожевниковъ, „Философія чувства“, ч. I, 636 - 8.

Съ его появленіемъ у насъ начинается переломъ русской литературы отъ французскаго псевдоклассицизма къ нѣмецкому романтизму. Карамзинъ стоитъ во главѣ этого новаго періода русской литературы; онъ же былъ несомнѣннымъ прародителемъ огромной толпы всѣхъ этихъ Ленскихъ, «полурусскихъ» юношей-идеалистовъ, пѣвцовъ своей «прекрасной» души.

Хотя между Карамзинымъ и Ленскимъ разстояніе въ тридцать лѣтъ, однако черты ихъ до того поразительно близки, что характеристика Ленскаго, сдѣланная Пушкинымъ, почти безъ измѣненія можетъ быть приложена къ Карамзину, какимъ онъ былъ передъ путешествіемъ заграницу: оба были поклонниками «туманной Германіи», оба увлекались и Кантомъ, и вольнолюбивыми мечтами, у обоихъ былъ «духъ пылкій и довольно странный», «всегда восторженная рѣчь и кудри черныя до плечъ»...

Когда Карамзинъ сблизился съ Петровымъ, онъ горѣлъ «пламеннымъ усердіемъ къ добру» [1]), какъ у Ленскаго,—

„Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь—
Въ немъ рано волновали кровь“ [2]).

Карамзинскую «искренность, живость, нѣкоторый жаръ чувства» [3]) узнаемъ мы въ «пылкихъ» [4]), «восторженныхъ рѣчахъ» [5]) Ленскаго, въ его «юномъ жарѣ, юномъ бредѣ» [6]), въ его «пламенной младости» [7])...

«Милыя надежды» Карамзина, его «тайныя сомнѣнія» [8]) волновали и Ленскаго,—

„...Міра новый блескъ и шумъ
Еще плѣняли юный умъ.
Онъ забавлялъ мечтою сладкой
Сомнѣнья сердца своего.
Цѣль жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой;
Надъ ней онъ голову ломалъ
И чудеса подозрѣвалъ“ [9]).

У обоихъ «душа воспламенилась» поэтическимъ огнемъ поэтовъ Германіи; разница лишь въ томъ, что Карамзинъ зачитывался Клопштокомъ, Клейстомъ, а Ленскій—Шиллеромъ и Гёте... Оба въ своихъ произведеніяхъ гордо сохранили всегда возвышенныя чувства, порывы «дѣвственной мечты» [10]). Оба проливали «живыя» слезы при разлукѣ, оба знали

---

[1]) Карамзинъ, Соч., III, 360. [2]) Пушкинъ, Соч., III, 263, [3]) Карамзинъ, Соч., III, 360. [4]) Пушкинъ, III, 267. [5]) Ibid., 262. [6]) Ibid., 267. [7]) Ibid., 270. [8]) Карамзинъ, Соч., III, 360. [9]) Пушкинъ, III, 263. [10]) Ibid., 263—4.

припадки «меланхоліи», «нѣли поблеклой жизни цвѣтъ, безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ» [1]).

Любопытно, что сходство простирается до того, что захватываетъ даже отношенія обоихъ къ ихъ друзьямъ, Онѣгину и Петрову: «гдѣ онъ (Петровъ) одобрялъ съ спокойной улыбкой, тамъ я (Карамзинъ) восхищался; огненной пылкости моей противополагалъ онъ холодную свою разсудительность» [2]). Онѣгинъ тоже—

„...слушалъ Ленскаго съ улыбкой
И охладительное слово
Въ устахъ старался удержать... [3])

О чемъ же бесѣдовали друзья,—Онѣгинъ съ Ленскимъ и Петровъ съ Карамзинымъ?—Да буквально о томъ же: «разсуждали мы о происшествіяхъ міра, угадывали будущую судьбу человѣчества» [4]), «разсуждали о нравственномъ мірѣ» [5]), славили «преимущества осьмагонадесять вѣка», «распространеніе духа общественности», «тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь [6]) народовъ», вопрошали натуру о великихъ тайнахъ ея» [7]),—

„Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племенъ минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые
И гроба тайны роковыя“ [8]).

Сходство простирается даже до такой мелочи, какъ чтеніе Оссіана, которымъ и Карамзинъ, и Ленскій угощали своихъ друзей [9])...

Припомнимъ нѣсколько писемъ, отправленныхъ Карамзинымъ къ Лафатеру,—и опять Ленскій, съ его душой, съ его чувствами, мыслями и интересами, ярко обрисуется передъ нами...

Сдѣланное нами сопоставленіе, конечно, не приведетъ насъ къ заключенію, что Ленскій срисованъ съ Карамзина, но мы должны будемъ признать, что типъ юноши-идеалиста, типъ, занесенный къ намъ Карамзинымъ прочно привился къ русской жизни: онъ не умиралъ въ теченіе 30—40 лѣтъ и ко времени Пушкина сохранилъ свои яркія краски и духовные интересы.

Въ самомъ дѣлѣ, достаточно бѣглаго взгляда, чтобы убѣдиться, что послѣ Карамзина у насъ развелось не мало «прекраснодушныхъ» юношей, сентиментальныхъ мечтателей, живущихъ идеальными чувствами [10]),—всѣ

---

[1]) Пушкинъ, Соч., III, 265. Если мы къ этому прибавимъ „сентиментальничанье“ Ленскаго (III, 312), то сходство обоихъ образовъ еще увеличится. [2]) Карамзинъ, Соч., III, 362; [3]) Пушкинъ, Соч., III, 267. [4]) Карамзинъ, 366. [5]) Ibid., 437. [6]) Ibid., 438. [7]) Ibid., 366. [8]) Пушкинъ, Соч., 267—8. [9]) Карамзинъ Соч., III, 361,—Пушкинъ, III, 268. [10]) См. 3-ю главу нашего изслѣдованія: „Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника“.

они въ значительной степени люди «полурусскіе», очи ихъ направлены на любезную имъ Германію. Оставимъ мелкихъ представителей этого сорта людей, бо̀льшею частью учениковъ и поклонниковъ Карамзина [1]), и перейдемъ къ болѣе крупнымъ представителямъ этого типа.

Прежде всего бросается намъ въ глаза образъ Андрея Тургенева, юнаго поэта, съ чистымъ сердцемъ, «исполненнымъ любви къ прекрасному»[1])—друга Жуковскаго. Нѣкоторые стихи его, стихи, проникнутые чувствомъ свѣтлой грусти, но въ то же время любви и вѣры [2]), показываютъ намъ, что поэтическія грезы Ленскаго ему очень сродни,—онъ тоже—

„...пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
И романтическія розы...
Онъ пѣлъ поблеклой жизни цвѣтъ,
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ“ [3])..

Безмятежный идеализмъ, находившій утѣшеніе въ воспоминаніи «минувшихъ дней блаженныхъ» [4]) и въ надеждѣ на свѣтлое будущее [5]), преклоненіе передъ вѣчнымъ царствомъ любви [6]),—все это довольно характерныя черты и для пушкинскаго Ленскаго.. «Тѣнь веселая и мирная!»—взывалъ Жуковскій къ своему покойному другу: «тѣнь твоя надо мною, она—собесѣдница безмолвныхъ часовъ моихъ, незримый хранитель моего сердца!» [7]). Къ этому прибавимъ увлеченіе А. Тургенева нѣмецкой литературой, за что его даже звали «нѣмцемъ» [8]), прибавимъ его восторженность и «пѣсни пламенны и музамъ, и свободѣ» въ «священномъ» кругу такихъ же «прекраснодушныхъ» юношей [9])—и опять обрисуются передъ нами свѣтлыя, ясныя черты Ленскаго...

Обратимся теперь къ Жуковскому. Опять полное совпаденіе съ Ленскимъ: весь первый періодъ поэтической дѣятельности «прекраснодушнаго» Жуковскаго, въ сущности, есть не что иное, какъ варіаціи на тѣ же темы, которыя разрабатывались Ленскимъ.—

„Въ немъ скорбь о неизвѣстномъ,
Стремленье въ даль, любви тоска,
Томленіе разлуки“ [10])...

Развѣ не о такой поэзіи говоритъ Пушкинъ въ словахъ:

„Онъ пѣлъ любовь...
Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,

---

[1]) Загарипъ, „В. А. Жуковскій“, 28. [2]) Напр. Ibid., 46—7, Тихонравовъ, Соч., ч. I, 416. [3]) Пушкинъ, Соч., III, 265. [4]) Тихонравовъ, Соч., III, ч. I, 416 [5]) Ibid. [6]) Ibid. [7]) Ibid. [8]) Ibid., 416—7, 433—4. [9]) Тихонравовъ, Соч. III, ч. 1, 416; [10]) Жуковскій, Соч. I, 109.

Онъ нѣлъ поблеклый жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ..." [1])

Правда, Ленскій былъ также и поклонникомъ нѣмецкой философіи; кромѣ того, довольно рѣзко подчеркнуты Пушкинымъ его «вольнолюбивыя» мечты. Но и эти черты отыщемъ мы въ русской жизни той эпохи: намъ поможетъ въ этомъ, хотя бы—князь А. И. Одоевскій, юноша-поэтъ, поплатившійся за свои вольнолюбивыя мечты Сибирью. Стоитъ намъ слегка ознакомиться съ этимъ образомъ,—и опять передъ нами станетъ тотъ же Ленскій: тотъ же—

„...блескъ лазурныхъ глазъ,
И звонкій дѣтскій смѣхъ, и рѣчь живая" [2])..

«Мысли его, разсказываетъ М. Бестужевъ, витали въ областяхъ фантазіи. Это былъ молодой пылкій человѣкъ и поэтъ въ душѣ»[3]). Огаревъ, встрѣтившійся съ нимъ на Кавказѣ, разсказываетъ слѣдующій эпизодъ, характерный для Одоевскаго: «ночь была чудная. Мы сѣли на скамью, и Одоевскій говорилъ свои стихи. Я слушалъ, склоня голову. Это былъ разсказъ о видѣніи какого-то свѣтлаго женскаго образа, который передъ нимъ явился въ прозрачной мглѣ и медленно скрылся» [4]). Развѣ не тѣ же видѣнія посѣщали Ленскаго, когда онъ писалъ свою лебединую пѣснь передъ дуэлью: тотъ же воздушный, женскій образъ, легкій, полупрозрачный, проносящійся легкой тѣнью передъ чистыми очами юноши-поэта, умиленнаго, восхищеннаго.. Обратимся ли мы къ стихамъ Одоевскаго,—мы опять услышимъ музыкальные мотивы трогательной элегіи Ленскаго:

„Куда, куда вы удалились?..."

Мы услышимъ въ этихъ стихахъ ту же возвышенную, чистую грусть, освященную тою же вдохновенной любовью ко всему міру и безоблачнымъ оптимизмомъ.

Стоитъ сравнить, хотя бы, его элегію: «Умирающій художникъ» съ стихами Ленскаго,—и мы еще разъ убѣдимся, до какой степени могъ Пушкинъ проникаться чужимъ настроеніемъ: стихи его Ленскаго совершенно въ тонѣ этой элегіи,—

„...едва лучи денницы
Моей коснулися зѣницы,—
И свѣтъ во взорахъ потемнѣлъ;
Плодъ жизни свѣянъ недоспѣлый!
Нѣтъ! Сновъ небесныхъ кистью смѣлой

---

[1]) Пушкинъ, Соч. III, 265; [2]) Одоевскій, Соч. (изд. подъ редакціей г. Мазаева), IX. [3]) Одоевскій, Соч., VII; [4]) Ibid, VIII.

Одушевить я не успѣлъ;
Гласъ пѣсни, мною не допѣтой,
Не дозвучитъ въ земныхъ струнахъ,
И я, въ нетлѣніе одѣтый,
Ее дослышу въ небесахъ [1]).

Развѣ не эти же думы роились въ головѣ Ленскаго, когда онъ думалъ о возможной смерти? Когда мысли его перенеслись къ Ольгѣ,— развѣ его поэтическія грезы не совпали съ грезами Одоевскаго:

„Улетѣлъ надеждъ блеснувшихъ
Лучезарный хороводъ,
Лишь одна изъ дѣвъ воздушныхъ
Запоздала. Сладкій взоръ,
Легкій шопотъ устъ послушныхъ,
Твой небесный разговоръ
Внятны мнѣ. Тебѣ охотно
Я ввѣряюсь всей душой...
Тихо плавай надо мной,
Плавай, другъ мой неотлетный!
Всѣ исчезли. Ты одна
На яву, во время сна,
Навѣваешь утѣшенье [2]).

Поэтъ, живущій въ «мірѣ мечтаній», преклоняющійся передъ «святыней чувства» [3]), Одоевскій, задаетъ себѣ томительный вопросъ, который, конечно, мучилъ и Ленскаго:

„Зачѣмъ мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнуетъ трепетную грудь?
Какъ званый гость, или случайный,
Пришелъ онъ въ этотъ чуждый міръ,
Гдѣ скудно сердца наслажденье
И скорби съ радостью смѣшенье
Томитъ, какъ похоронный пиръ?—
Гдѣ насъ объемлетъ разрушенье,
Гдѣ колыбель—могилы дань,
Развалинъ цѣпь—поля и горы [4])!..

Если мы обратимся къ мемуарамъ того времени, — опять передъ нами пронесется нѣсколько чистыхъ юношескихъ образовъ, просвѣтленныхъ тѣмъ же идеализмомъ, которымъ пылала душа Ленскаго. С. Аксаковъ, напримѣръ, вспоминаетъ свою юность въ слѣдующихъ восторженныхъ выраженіяхъ: «Прекрасное, золотое время! Время чистой любви къ знанію, время благороднаго увлеченія!» [5])... Тутъ, конечно, есть и

[1]) Одоевскій, Соч., 5; [2]) Ibid, 7; [3]) Ibid, 10. [4]) Одоевскій, Соч., 10; [5]) Г. Поливановъ указываетъ также на Клохельбекера, какъ образчикъ поэта-идеалиста, воспитаннаго на нѣмецкой поэзіи и потому близкаго къ Ленскому (Пушкинъ, Соч., изд. Поливанова, IV, 467);

идеальная дружба и любовь, и преклоненіе передъ природой, и увлеченіе идеалистической литературой: Аксаковъ зачитывался романами Коцебу и Лафонтена, «читалъ ихъ по ночамъ — въ пустыхъ антресоляхъ—читалъ съ увлеченіемъ, съ самозабвеніемъ! Смѣшно сказать, но и теперь слова: «люби меня, я добръ, Фанни!» или: «мѣсяцы, блаженные мѣсяцы пролетали надъ этими счастливыми смертными», слова, сами по себѣ ничтожныя и пошлыя, заставляютъ сердце мое биться скорѣе по одному воспоминанію того восторга, того упоенія, въ которое приводили они пятнадцатилѣтняго юношу!»[1])... Прощаясь со своею университетскою жизнью, Аксаковъ разражается цѣлымъ рядомъ восторженныхъ восклицаній: «прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной!.. Стѣны гимназіи и университета, товарищи—вотъ, что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства Тамъ былъ судъ, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, ко всѣмъ своекорыстнымъ расчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости—и глубокое уваженіе ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному!» [2]) Эти вдохновенныя строки говорятъ намъ о настроеніи цѣлаго поколѣнія молодежи и находятъ подтвержденіе въ рядѣ другихъ свидѣтельствъ. Изъ записокъ Жихарева мы узнаемъ, напримѣръ, что молодежь тогдашняя увлекалась музыкой, «исполненною чувства и нѣмецкой мечтательности» [3]), что трогательные стихи, отъ которыхъ «такъ и вѣетъ Маттисономъ», приводили въ умиленіе.

„На ея могилѣ есть цвѣтокъ незримый:
Всюду разливаетъ онъ благоуханье.
Онъ—цвѣтокъ завѣтный, онъ—цвѣтокъ любимый.
Онъ—в о с п о м и н а н ь е!
И вѣчно душистый, цвѣтокъ неизмѣнный
Не боится бури, не вянетъ отъ зноя,
Сторожитъ сохранно имя преселенной
Къ вѣчному покою! [4])

Слушая соловья на могилѣ своей милой, идеальный юноша того времени обливался слезами и сочинялъ чувствительную элегію:

„...Пѣсня сладостна твоя;
Но стократъ нѣжнѣе
Раздавалась пѣснь ея
Слаще и милѣе!

---

[1]) С. Аксаковъ, Соч., I, 322. [2]) С. Аксаковъ, Соч., I, 338. [3]) С. Аксаковъ, Соч., I, 360; [4]) Жихаревъ, Записки, 42.

Пѣсня дѣвы молодой
Въ сердце западала,
Какъ воздушной арфы строй,
Душу проникала.
Много, много васъ пѣвцовъ
Съ весною прибудетъ,
Но весна почившей вновь
Къ пѣснямъ не разбудитъ!
Голосъ смолкъ, погаснулъ взоръ,
Здѣсь она отпѣла,
И къ пѣвцамъ безплотнымъ въ хоръ,
Въ небо улетѣла! [1])

Вотъ, передъ нами еще одинъ юноша—Телешовъ, о которомъ его ученица, графиня А. Д. Блудова, отзывается съ самымъ живымъ сочувствіемъ: у него, оказывается, «была душа самая пылкая, нѣжная, женственная и, какъ у Ленскаго,

Всегда восторженная рѣчь...“ [2])

Это былъ идеалистъ-pur sang, чистый образчикъ юноши-«die schöne Seele». Такимъ же былъ, повидимому, и С. Глинка, который, по собственному признанію, «лелѣялъ сердце жизнію мечтательною», былъ «платонически влюбленъ», воспѣвалъ свою милую въ элегическихъ стихахъ [3])... Немудрено, что его записки переходятъ порой въ поэтическія импровизаціи, мечтательныя, сентиментальныя... Читая ихъ, мы опять вспоминаемъ все того же Ленскаго. «Былъ очаровательный іюльскій вечеръ. На голубомъ небѣ солнце въ безмятежномъ великолѣпіи спускалось на покой въ волны озеръ и золотило отражавшіяся въ нихъ вершины лѣсовъ. Остановя почтовую повозку, я бросился къ прелестямъ живописной природы. Мечты зароились въ головѣ моей. «По наукѣ, думалъ я, земной нашъ пріютъ кружится около солнца; по глазамъ — оно уклоняется отъ насъ. Да вѣдь надобно же отдохнуть когда-нибудь и этому солнцу, которое всѣмъ безъ разбору и приличій даритъ и свой блескъ, и красоту полей и луговъ, и золотыя жатвы нивъ!» Такъ мечталъ я, и всплывала луна, и солнце дружелюбно уступало ей владычество свое. Какой міръ въ мірѣ небесномъ! Какой міръ въ области безчисленныхъ свѣтилъ и свѣтовъ! А у насъ за клочки земли какія кипятъ и ссоры, и вражды, и бури военныя!» [4])... Вспоминая подъ старость свои юные «поэтическіе и мечтательные годы» жизни, Глинка разсказываетъ: «въ молодости моей, мечтая съ Юнгомъ, я бродилъ въ мѣстахъ уединенныхъ, въ глуши лѣсовъ; нерѣдко внималъ громовымъ раскатамъ, мечтая подъ дождемъ проливнымъ, пересочиняя въ мысляхъ Юнговы ночи:

[1]) Жихаревъ, Записки, 70; [2]) „Русск. Арх.“, 1872, 1222; [3]) С. Глинка. Записки ,193. [4]) С. Глинка, 245.

возвращаясь домой, передавалъ бумагѣ сумрачныя мечты свои. Отчего западало это раннее томленіе въ мою душу? Было ли это вѣстію, чтобы я готовился на борьбу съ жизнію труженической? И отчего слезы, унынie и въ юности моей сладостнѣе были для сердца моего утѣхъ, кружащихся въ вихрѣ большого свѣта?» [1])

Кромѣ этихъ приведенныхъ нами примѣровъ, мы для объясненія Ленскаго можемъ безъ труда набрать цѣлые десятки, болѣе и менѣе, сходныхъ образовъ: въ любыхъ запискахъ той эпохи, нѣтъ-нѣтъ, и мелькнетъ образъ какого-нибудь «нѣжнаго» юноши-мечтателя, съ идеальными порывами, съ кристальной душой... Но, думаемъ, и приведенныхъ примѣровъ достаточно для доказательства нашего мнѣнія, что пушкинскій Ленскій выхваченъ изъ русской дѣйствительности, что типъ этотъ имѣетъ свою исторію до Пушкина и, прибавимъ въ заключеніе, не умеръ и послѣ нашего великаго художника,— въ самомъ дѣлѣ, развѣ московскій кружокъ поклонниковъ нѣмецкой философіи, собравшійся около Станкевича, не есть собраніе юношей, во многомъ сходныхъ съ Ленскимъ?...

Переходимъ теперь ко второму вопросу: «какимъ путемъ шло художественное воплощеніе этого типа?» При разрѣшеніи этого вопроса мы наталкиваемся на интересную частность. Мы видѣли уже, что характеристика Ленскаго, сдѣланная Пушкинымъ, замѣчательно вѣрно рисуетъ типъ юноши-«die schöne Seele»,—но то обстоятельство, что она одинаково приложима и къ Карамзину, и къ Жуковскому, и къ Одоевскому, и къ Аксакову и ко многимъ другимъ,—доказываетъ, что она черезчуръ о б щ а, что Пушкинъ собралъ для своего Ленскаго все существенное, характерное для юноши-идеалиста, и съ этимъ пустилъ его въ свѣтъ... Вотъ почему, передъ нами только к о л л е к т и в н ы й т и п ъ, нѣсколько туманный и отвлеченный... Этого, конечно, нельзя сказать, напримѣръ, объ Онѣгинѣ и Татьянѣ: тамъ чувствуется живопись съ «натурщика»,— здѣсь же этого нѣтъ: нѣтъ рѣзкаго штриха, который, копируя натуру, оживляетъ образъ, вноситъ въ него живыя черты случайности...

Такими же «коллективными» типами въ романѣ можно назвать отца Онѣгина, Лариныхъ,—въ старушкѣ же Филипьевнѣ опять чувствуется «жизнь»: незабвенная Арина Родіоновна припоминается каждому.

[1]) С. Глинка, 363.

ТОГО-ЖЕ АВТОРА ПРОДАЮТСЯ СОЧИНЕНІЯ:

1) «**Н. М. Карамзинъ, авторъ Писемъ русскаго путешественника**», съ приложеніемъ, 1) статьи: «**Новиковъ, Шварцъ и моск. масонство**, и—2) «**Матеріаловъ для полнаго собранія сочиненій Карамзина**),—1899 г., 642 стр. **3** руб. **50** к.

2) «**Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ**» (въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая), 1899 г., **50** к.

Складъ въ магазинахъ «**Новаго Времени**».